

**Вячеслав
Репин**

Звёздная болезнь

, или

Зрелые годы
мизантропа

роман

ТОМ I

Вячеслав Репин

**Звёздная болезнь, или Зрелые
годы мизантропа. Том 1**

«Издательские решения»

Репин В. Б.

Звёздная болезнь, или Зрелые годы мизантропа. Том 1 /
В. Б. Репин — «Издательские решения»,

ISBN 978-5-4485-1196-7

«Звёздная болезнь...» — первый роман В. Б. Репина («Терра», Москва, 1998). Этот «нерусский» роман является предтечей целого явления в современной русской литературе, которое можно назвать «разгерметизацией» русской литературы, возвратом к универсальным истокам через слияние с общемировым литературным процессом. Роман повествует о судьбе французского адвоката русского происхождения, об эпохе заката «постиндустриальных» ценностей западноевропейского общества. Роман выдвигался на Букеровскую премию.

ISBN 978-5-4485-1196-7

© Репин В. Б.
© Издательские решения

Содержание

ТОМ I	6
От автора	6
Часть первая	11
Конец ознакомительного фрагмента.	51

Звёздная болезнь, или Зрелые годы мизантропа Роман. Том I

Вячеслав Борисович Репин

© Вячеслав Борисович Репин, 2017

ISBN 978-5-4485-1196-7

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero



paris 1992—1998

ТОМ I

От автора

Прологом предлагаемого читателю жизнеописания послужил эпизод из семейной жизни, свидетелем которого автору этих строк довелось стать годы тому назад...

В сентябре девяносто третьего года, когда я еще жил в Париже, мне пришлось поехать на поезде в Роттердам по поручению знакомой. Мари Брэйзиер, француженка русских кровей, с которой я поддерживал полусемейные, полулитературные отношения, обратилась ко мне с просьбой: не могу ли съездить в Голландию за ее великовозрастными детьми, с которыми там произошла неприятность? Брат и сестра, давно не маленькие дети, поехали в Голландию на машине, но на обратном пути застряли в Роттердаме, не могли продолжать путешествие своим ходом. Сама Мари жила на юге Франции – до Роттердама путь не близкий...

Детей Мари я знал еще школьниками, в те времена, когда семейство было дружным, сплоченным. Они жили тогда в Тулоне, и даже представить себе было бы трудно, что столь теплое семейное гнездо однажды может превратиться в его полный антипод – в обычную разрозненную семью. До развода с мужем Мари держала за правило устраивать по воскресеньям домашние застолья. Бывая у них в гостях, я дружил с детьми, иногда чем-нибудь помогал им в Париже, водил в кино, по музеям. С годами привязанность ослабла. Дети покинули отчий дом. Луиза, дочь М. Брэйзиер, поступила учиться на дизайнерский факультет, жила в Париже самостоятельно. Брат Луизы Николая – он был старше сестры на три года – из-под родительской опеки выбился как-то слишком не во время. И теперь всё больше прохладился: разъезжал по границам, обещал превратиться в настоящего вертопраха. Родителям Николая доставлял одни заботы.

Как раз накануне описываемых событий юный Брэйзиер вернулся из поездки в США, где провел с перерывами три года. Не успев отоспаться от ночного рейса, он надоумил сестру поехать вместе с ним в Голландию. Мать только что купила новую машину, и Николая предложил «гольф» обкатать, а заодно планировал навестить в Амстердаме друзей и просто подышать свежим воздухом. На родине, во Франции, дышалось – понятное дело – не так, как на мировых просторах. Не успел блудный сын вернуться домой, как новые приключения уже манили его в туманные дели...

Вдоль и поперек исколесив Нидерланды, брат и сестра остановились на ночлег в Роттердаме. С утра пораньше они планировали продолжить путь, уже без остановок, до Парижа. Вечером в Роттердаме и произошло ЧП. Какая нелегкая понесла обоих на экскурсию, на теплоходе, они и сами не могли позднее объяснить. Но когда плавание закончилось, и теплоход причалил, Николая, спускаясь на берег, оступился и подвернул стопу. Травма оказалась пустяковая, в ближайшем травмпункте выявили легкое растяжение, но вести машину Николая не мог.

Сестра, как выяснилось, тоже не могла сесть за руль, хотя давно водила машину. Мать не могла отправиться в дорогу из-за срочной письменной работы, которую взяла на свою голову. Сдать работу она должна была в сроки любой ценой. К тому же ехать пришлось бы через всю Европу, расстояние получалось в тысячу километров.

Мари Брэйзиер объясняла мне всё это по телефону. Детей она просила избавиться от машины, настаивала на том, чтобы они оставили «гольф» на автостоянке, например в аэропорту, и прямоком ехали домой – самолетом или поездом, как получится. Не жить же им по гостиницам. Но проблемы горе-путешественников этим не ограничивались.

Уже позднее всплыли и другие обстоятельства. Поездка юных Брэйзиеров в Голландию, а именно в Лейден, небольшой университетский город, расположенный к северу от Гааги, ока-

залась прикрытием. Цель преследовалась куда более прозаическая. Луизу постигли трудности «по женской части». И отсюда начиналась уже целая «история с географией», как распинался позднее брат.

Во время рядовой консультации у парижского аллерголога вдруг выяснилось, что Луиза в положении. Почему беременность выявил аллерголог, Николая объяснить не мог. Что делать и как выходить из «положения», никто будто бы ума не мог приложить. Когда же Луиза решила наконец что-то предпринимать, срок беременности перевалил за «критическую» черту. Плод она носила уже больше трех месяцев.

О сохранении ребенка не могло быть якобы и речи. В ближайшее время Луиза собиралась выходить замуж, и, как выяснялось, вовсе не за виновника своих злоключений. Но главная сложность заключалась теперь в другом: искусственная «приостановка» беременности на столь поздней стадии во Франции запрещена законом, если к этому нет каких-то особых медицинских показаний. Те же законодательные ограничения существуют почти во всей Западной Европе. Менее беспощадной десница закона оказалась, как всегда, в протестантской Голландии.

Туда Луизу и направил один из парижских центров планирования семьи, в который она обратилась за помощью. После дополнительных собеседований и обследования ей предложили отправиться в Лейден, в одно из дочерних медучреждений, чтобы сделать там аборт...

В конечном счете всё обошлось легким испугом. Частная клиника, облюбовавшая под свои нужды особняк в центре Лейдена, едва ли походила на логово маркиза де Сада. Заведение скорее напоминало дом отдыха. Прискорбные услуги здесь оказывали всего за полторы тысячи французских франков того времени. Дело давно поставили на поток. Обслуживание предлагалось в основном амбулаторное. И даже плату можно было внести в иностранной валюте, клиентам не приходилось терять время на лишние формальности. Поголовное большинство пациентов уже после обеда выписывали...

Оказавшись на улице, Луиза чувствовала себя «не хуже, чем после удаления зуба мудрости», – она клялась в этом брату. Но в действительности ей хотелось «разорвать себя на куски, а заодно и весь мир...» – так она объясняла свое внутреннее состояние позднее.

Чуткий брат решил помочь сестре развеяться. По дороге домой Николая предложил немного «проветриться»...

В середине сентября Париж только-только начинал приходить в себя от благополучной дремоты отпускного межсезонья. Бросать дела, которых за лето накопилось так много, что я не знал, с какого конца за них браться, тащиться поездом невесть куда, чтобы потратить день непонятно на что... – путешествие было ни к селу ни к городу. Но отказать Мари я не мог, она редко о чем-нибудь просила с такой настойчивостью. Великое дело – доехать до Роттердама, сесть за руль автомобиля и вместе с шалопаями Брэйзиерами пригнать машину в Париж, не сворачивая с трассы...

На платформе было людно. Наблюдая за вокзальной суетой и почему-то припоминая первые строки из «Воспитания чувств» Флобера, где описываются приготовления корабля к отплытию, я едва успел присмотреть себе место в пустом конце вагона, как впереди, в группе отъезжающих, которая заполнила тамбур перед самым отправлением, мой взгляд остановился на профиле мужчины средних лет. В следующий миг я так и обмер. Грэм?!

Невероятно, но факт. Крепыш средних лет в костюме и в очках, пытавшийся пристроить дорожную сумку на верхней багажной полке, – это был не кто иной, как Эруан Грэм, мой давний приятель с московских времен.

Я выбрался в проход, подошел к нему. Грэм смерил меня невидящим взглядом и в следующий миг, издав грудью булькающий звук, зашлепал губами. Он был ошарашен – *é-pous-tou-flé*. Пришелец из прошлого от изумления выговаривал слова силлабами.

Десять лет, никак не меньше, минуло с тех пор, как Грэмм, рядовой сотрудник французского посольства, заочно продолжавший учиться на юриста, успешно отработал в Москве свой законный срок «альтернативной» службы, освобождавший его от призыва в армию, и отбыл домой во Францию. С тех пор мы так ни разу и не виделись...

Но даже придя в себя, Грэмм продолжал удивляться всему на свете. Моему «возмужанию», моему французскому выговору, будто бы «сногшибательному», что было большим преувеличением. Его удивлял даже мой рост, которым я особенно не отличался, да и не может взрослый человек измениться в росте ни с того ни с сего.

Мы громко разговаривали, привлекали к себе внимание. Я предложил выйти в тамбур. Особого багажа у нас не было, и большого труда не составило добраться до вагона-ресторана. А уже оттуда, молча выщедив по чашке кофе – Грэмм попросил кофе со сливками, а я обыкновенный эспрессо, – мы перешли в вагон первого класса. Здесь было безлюдно, контролеры уже прошли, и мы больше никому не досаждали своей болтовней.

Грэмм ехал в командировку. Ему предстояло сойти с поезда на небольшой станции после Лилля, перед бельгийской границей. В нашем распоряжении было почти два часа...

Во время описываемой встречи в поезде до меня сразу не дошло, что в ней есть что-то предначертанное. Смутное чувство, что перед глазами брезжит что-то давнее, забытое, выбеленное из памяти, зашевелилось во мне на мгновенье, когда Грэмм, поглядывая в окно, где уже мелькали предместья Лилля, и на свои массивные часы, какие носят настоящие боссы, бегло одарил меня новостями из жизни общих знакомых. Куда ни глянь – сплошные перемены, одни неожиданности. Помянул Грэмм вскользь и нашего общего знакомого Вертягина, тоже московского периода, с которым я, как и с Грэммом, перестал поддерживать отношения. Помянул – лучше не скажешь. Это стало ясно из рассказа Грэмма о дальнейшей судьбе Вертягина, в которой произошел совершенно неожиданный поворот.

Потомок белых русских эмигрантов, уроженец Франции, Петр Вертягин был выходцем из семьи дипломата. Его отец, Вертягин-старший годы назад тоже работал в России, чем в немалой степени и объяснялся впоследствии пробудившийся у сына интерес к своей исторической родине. Еще ребенком Петра Вертягина родители возили в Москву и в Ленинград. И вряд ли стоило удивляться, что позднее, в зрелые годы, он продолжал ездить в Россию. Не удивительно и то, что Петр не смог выйти сухим из воды. Регулярные визиты Вертягина в страну пращуров завершились браком с русской девушкой.

Грэмм утверждал, что карьера адвоката, которая для Вертягина началась успешно, обернулась полным крахом. Скандальный судебный процесс, в который Вертягин якобы впутался как защитник, спасая то ли знакомого, то ли просто утопающего, гибель в Африке компания при обстоятельствах так до конца и не выясненных (событие наделало немало шума), разногласия среди самих совладельцев адвокатского бюро, основателем которого был Вертягин, кроме того, какие-то личные страсти, сотрясавшие его семейную жизнь, – всё это привело к настоящему фиаско, да и, собственно говоря, к трагедии. Вертягин попал в автодорожную катастрофу, получил увечья. Венцом всему – он потерял память. От тяжелой амнезии Вертягина пытались лечить по сей день. Он постоянно жил при клинике на юге Франции. Но всех подробностей Грэмм не знал...

Каково услышать, что давний друг стал умалишенным? В этом невольно чудится какой-то вызов судьбы, проглядывает нечто такое, что ставит перед необходимостью немедленной переоценки прошлого и себя самого. Мучительное сомнение так и закрадывается в душу: а что, если все мы, сами того не сознавая, ходим по краю реального мира? Вертягин был самым полноценным, самым здоровым человеком из всех, с кем жизнь меня когда-либо сводила. Уж кому-кому можно было бы прочить подобную судьбу, но только не Петру...

Далее всё складывалось с последовательностью, граничившей с мистикой. В открытиях, которые мне предстояло вскоре сделать, прослеживалось что-то по-настоящему непостижи-

мое. Предначертанность судьбы – вот где она меня поджидала... В Роттердам я ездил, как выяснилось, за юными родственниками Вертягина. И почему-то не имел об этом даже отдаленного представления. А сама Мари Брэйзиер, мать горемычных скитальцев, приходилась Вертягину двоюродной сестрой по линии его отца. Оставалось вычислять по созвездиям или гадать на кофейной гуще, как вообще могло так получиться, что за годы общения с Брэйзиеровым семейством я об этом никогда и ни от кого из них не слышал. Сокрушительное впечатление произвела на меня, опять же, не череда совпадений – ведь стоит копнуть как следует, и всему можно найти рациональное объяснение, – но сам факт, что благодаря случайному стечению обстоятельств в моей жизни последних лет все концы сходились воедино...

По возвращении из Роттердама я откопал в своих бумагах старую визитную карточку Вертягина, с адресочком в департаменте Ивлин, в поселке под названием Гарн, где он купил дом. Я позвонил по указанному номеру. Отвечали незнакомые люди. Дом был продан. Как связаться с бывшим хозяином, никто не знал. Ни в городском, ни в общенациональном электронном справочнике данных о Вертягине тоже не было. За справкой можно было обратиться, конечно, в адвокатуру, раз уж он числился когда-то прикрепленным к своей корпорации, а может быть, и пребывал в ней формально по сей день. Но на это могло уйти время, ведь я даже не знал, как правильно сформулировать свое обращение. И я предпочел послать короткое письмо давней общей знакомой, которая годы назад, как и Грэм, работала в Москве в посольстве, точнее, ее матери, пожилой аристократке, жившей в По, адрес которой мне был однажды оставлен. Я просил передать письмо дочери при первой же возможности.

И вот – везение. Буквально через пару дней эта самая знакомая мне позвонила. Она находилась в Буэнос-Айресе, там теперь и работала всё в той же сфере. Вертягина она давно не видела. Но она продиктовала мне телефон подруги, которая поддерживала отношения с его родственниками и уж как минимум могла подсказать, где он и что с ним...

Так я и вышел на молодую парижскую художницу, мать которой, Шарлотта Вельмонт, в недавнем тоже парижский адвокат, а по выходе на пенсию жившая в Бретани, оказалась непосредственной свидетельницей последних жизненных перипетий Вертягина. Шарлотта Вельмонт связала меня с семейным врачом Вертягиных мсье Дюпратом, жившим под Каннами. Тучный добродушный пенсионер, Дюпрат давно никого не лечил, кроме своры своих терьеров, но считал своим долгом поддерживать отношения с бывшими пациентами. При встрече он и сообщил мне все последние новости из жизни Петра. За недостающими сведениями Дюпрат посоветовал обратиться к родственнице Вертягина – к Мари Брэйзиер. Круг странным образом замкнулся...

Завершающим звеном этой цепи стало открытие, больше похожее на разоблачение, сделанное мною уже напоследок. «Лейденская беспутница» – на редкость щедро одаренная внешними данными юная особа, которую я доставил матери из Роттердама целой и невредимой, как оказалось, поддерживала с Вертягиным близкие отношения. К моим расспросам Брэйзиер-младшая отнеслась поначалу благосклонно. Но как только разобралась, что к чему, стала держаться замкнуто и старалась больше не подпускать меня к своему порогу.

Позднее мне довелось увидеться и с матерью Вертягина. Она же Вероника Крафт, она же Гертруда Шейн (этим псевдонимом она подписывала свои книги), малоизвестная писательница, много лет прожившая на Нормандских островах, в Джерси, и для своих преклонных лет на редкость экстравагантная особа, – на день моей встречи с ней экс-Вертягина была даже не в курсе того, что стряслось с ее сыном.

Свидание с самим Петром состоялось чуть позднее и уже благодаря усилиям Мари Брэйзиер. Эта встреча оказалась для меня большим испытанием. Но всё по порядку...

Прежде чем перейти к страницам, излагающим последние годы жизни Петра Вертягина с максимально доступной мне достоверностью, я не премину выразить глубокую признательность всем, кто оказал мне помощь, а именно:

Шарлотте Вельмонт, отставному адвокату парижской коллегии; Антуану Дюпрату, домашнему врачу семьи Вертягиных, без любезной и по-настоящему дружеской помощи которого эти строки вряд ли были бы написаны; Мари и Арсену Брэйзиер, родственникам П. Вертягина; Веронике Вертягин – матери П. Вертягина, Сергею Фон Ломову – адвокату, французскому подданному, проживающему в Москве; адвокату Густаву Калленборну, прикрепленному к Версальскому суду, супругам Жосс, супругам Фаяр из Пасси (Верхняя Савойя); Рудольфу Обри, Марте Грюн и многим другим...

Часть первая

Мое знакомство с Петром Вертягиным состоялось осенью восемьдесят первого года. Фамилия Крафт – его вторая фамилия немецкого происхождения – досталась Вертягину от отца и всегда вызывала у него неприятие, несмотря на то, что Вертягин-старший на протяжении всей своей жизни пользовался и той и другой фамилиями в зависимости от обстоятельств. Профессиональный французский дипломат, Вертягин-Крафт считал, по-видимому, лишним афишировать свои русские корни...

Поздней осенью мне стало известно, что меня разыскивает по Москве иностранец. Незнакомец названивал мне в коммуналку по нескольку раз в день, оставлял через соседей устные сообщения. В это время я жил за городом и в квартире на Трубной практически не появлялся, поэтому связаться со мной ему никак не удавалось. К тому же соседи сообщили мне о звонках только спустя неделю. У звонившего будто бы был акцент. По одной этой детали я сразу догадался, что меня ждет очередная весть от дяди, жившего за границей. Музыкант и «невозвращенец», в семидесятых годах тот гастролировал с оркестром в Западной Германии и попросил политическое убежище. Дядя осел во Франции, проживал в Нанте, не все его письма тогда доходили...

Кое-как мне всё же удалось связаться с разыскивающим меня французом и условиться о встрече. Сразу же и выяснилось, в Москве у нас было полно общих знакомых. Дома у знакомых первая встреча и состоялась.

Эмансипированная, родом из семьи советских интеллигентов с положением, Маша К. со школьной скамьи была спаивающим звеном целого клана моих сверстников, которых объединяло не только соперничество за право ухаживать за самой Машей, довольно привлекательной особой, не только модное в те годы ничегонеделание, но и уважение, как кто-то однажды подметил, к неуважению как таковому. Маша жила в центре Москвы. Просторные апартаменты, которыми ее одарило зажиточное семейство, превратились в проходной двор. У Маши постоянно кто-то жил. Постоянно устраивались вечеринки. Прикрываясь положением папы, прожужжавшего уши «литературного» функционера, имя которого у одних вызывало брезгливость, а у других зыбкую надежду, что через Машу в карман всемогущего Дмитрия Ивановича можно подсунуть какую-нибудь письменную просьбочку и заполучить протекцию, Маша принимала у себя даже гонимых, лишь бы гость не был «занудой» и имел бы хоть какое-то отношение к «литературе и искусству»...

Едва ли у Маши оставалось время для работы над диссертацией, посвященной норвежской классической литературе, которую она пыталась осилить не первый год и без видимых успехов, какую бы помощь ей ни оказывали ученые поклонники. Мурлыча от удовольствия, некоторые из редакторов-консультантов от красавицы Маши не отходили ни на шаг. Но именно там, в приполярных широтах Норвегии, след Маши позднее и простыл – будто в назидание случайным литературоведам, да и назло оппортунистам родителям...

Прослышав через знакомых о моих неуклюжих «контактах» с неким Пьером из Парижа, который уже успел побывать у нее в гостях, Маша К. самоуправно перенесла назначенное нами randevu к себе на старый Арбат. Дабы мы не мозолили глаза «компетентным органам», как она потом объясняла, у входа в Московский главпочтамт, – именно в этом месте этот самый Пьер умудрился назначить мне встречу по телефону. Появившись у Маши в назначенное время, я застал у нее обычную компанию. Здесь, как всегда, отмечали чьи-то именины. Но больше чем именинника, компания чествовала молодого, лет тридцати, француза с русской фамилией.

«Пьер» просил называть его попроще – «Петей», раз уж он русский. Сидя в углу у окна, француз Петя цедил ледяную водку, с видом простака следил за разгулом собутыльников и отмалчивался. Но это объяснялось неловкостью, как мне показалось, за неуклюжий русский

язык, на котором он изъяснялся. Речь его, хотя и беглую, окрашивало некоторое косноязычие. Складывалось впечатление, что он прибегает к какому-то периферийному жаргону, как бывает – с далекого Севера, куда уже давненько ссылали зарвавшихся столичных интеллигентов.

Заполучив в руки свою посылку – десятикилограммовый пакет с подпольной литературой, – я поинтересовался у Вертягина, откуда он знает моего дядю.

– Мы мало знакомы. Встречались один раз... в Нанте, – невнятно ответил он. – Невысокий? С бородкой? Книги переводит?

– Нет, дядя никогда не занимался переводами. Он музыкант, – сказал я, не без сожаления констатируя, что знакомство их было шапочным.

– Тогда я перепутал. – Вертягин на миг оробел, но тут же извиняющимся тоном добавил: – Вообще я редко бываю в Нанте.

– Сами вы из Нанта?

– Нет... То есть да и нет. В детстве жил с родителями... А теперь отец там один... Я там начинал учиться. Потом перевелся в Париж... Во Франции можно сменить университет, было бы желание.

Обстоятельность объяснений наводила на мысль, что ему хотелось поболтать.

– Нант – это в Бретани, вы слышали?.. Симпатичный город. Но провинция – везде провинция.

В подтверждение сказанного Пьер Вертягин качнул лбом и стал разглядывать вместе со мною распакованные книги и пластинки, удивляясь, что в Москве кто-то еще слушает «Пинк Флойд» и в то же время Гленна Гульда, а кроме того, интересуется корреспонденцией А. Арто времен пребывания этого полугения в сумасшедшем доме, читает романы Конрада, Набокова, Лоуренса, да еще и в оригинале, и т. д. Вертягин был уверен, что за такие книги по сей день ссылают на сибирские рудники.

С легкой руки той же Маши между нами завязались дружеские отношения. Уже не один месяц я жил за городом, в Переделкино, уступив свою комнату на Трубной родственнику, которого жена выгнала из дому за распутство. Он и оплачивал мне, в виде компенсации, небольшую летнюю дачу – настоящую хибару. Вертягина же Маша возила на родительскую дачу, находящуюся как раз неподалеку, в Лесном Городке. Загородная жизнь

Маши в Лесном Городке зеркально отражала городскую. Здесь тоже постоянно жил кто-нибудь полубездомный. Кто-нибудь обязательно вваливался в дверь без предупреждения. Вертягин не выдерживал этой атмосферы больше двух дней. И стоило ему услышать о том, что я живу рядом, и особенно о моих марш-бросках через весь лес, во время которых я покрывал пешком километры, как он мгновенно загорелся желанием составить мне как-нибудь компанию. Ему хотелось увидеть «настоящий» русский лес, посидеть у деревенской печки. Но он воображал себе, конечно, что-то свое, далекое от действительности. Переделкинский лес был небольшим и совсем не дремучим. Да и в летнем домике, который я снимал, сколько его ни топи, околеть можно было при малейшей непогоде. Чтобы развеять иллюзии француза, я предложил ему заехать ко мне в ближайшие выходные. От Лесного Городка езды на электричке считанные минуты.

Вертягин приехал в воскресенье вместе с Машей. Мне почему-то сразу не пришло в голову, что он за ней волочится. Хотя и трудно было не заметить уже бегающие между ними токи, ту особую скованность, граничившую с манией, незаметно изучать друг друга в спину, в профиль, но делать вид, что ничего не происходит, когда глаза встречаются. К счастью, «наш полуфранцузский друг», как подтрунивала Маша над Вертягиным, быстро понял, что Маша – ветер, свежий, но всё-таки ветер, угнаться за которым вряд ли возможно.

Осмотрев мою избушку, огород, мы немного покофейничали на веранде, и я повел их полюбоваться на поселок. Единственной настоящей достопримечательностью в этой части

Переделкина был местный храм, для многих знаменитый не только прилегающим к нему подворьем, – как-никак патриаршая резиденция.

Воскресная литургия еще не закончилась, и Вертягину не хотелось уходить. Мы просто-яли на службе почти до часу дня. Обедать же решили в ресторане «Сетунь». Так в те годы назывался пристанционный ресторан, примыкавший прямо к платформе. Маша на этом буквально настояла. Ей хотелось разбередить в себе какие-то детские воспоминания, связанные с этим заведением.

На стол с белой скатертью здесь подавали дымящийся борщ. Водку приносили в графине. И всё за считанные рубли. Сетовать приходилось разве что на изнурительно медленное обслуживание, на нерадивость толстобочкой официантки, бесцеремонно насчитывавшей себе чаевые, да на грохот проходящих поездов. От содрогания путей и платформы за окном на столе звенела посуда, и с трудом удавалось разговаривать. На прогулку по лесу, ради которой Вертягин приехал, мы отправились только после обеда.

После ресторана мы вернулись к ограде моего домика. Лесная чаща начиналась отсюда буквально сразу, хотя и выглядела по краям загаженной, как бывает в парках после наездов воскресных «туристов». Я повел моих гостей знакомым «дальним» маршрутом вглубь небольшого, но живописного пихтового леса. Затем, взяв тропой в сторону, мы вышли к болотистому перелеску и дальше, уже огибая пустошь и делая километровый круг, – к озерам, где летом можно было купаться. Вертягин удивлялся, насколько русский лес похож на немецкий. Похожую «флору» – смесь лиственного леса с соснами, вперемежку с зарослями ольховника – он встречал только в Германии, под Берлином...

Моцион немного затянулся. К моей избушке мы возвращались уже в сумерки, под конец решив взять опять лесом, чтобы не месить грязь на истоптанной за день тропинке. В просвете осин уже мелькала моя кособочая ограда, когда Маша вдруг набрела на целую плантацию опят. Несколько палых черных сосен были буквально облеплены темно-коричневыми шляпками. Зима, хотя и поздняя, уже дышала в затылок холодом. По вечерам, а иногда даже засветло переделкинский ландшафт, всё еще плотный от листвы, далеко не зимний, пробивало заморозками. Ежась от сырости, не зная, как быть с грибами – жалко же оставлять такое добро, – мы топтались на опушке, сквозь поредевшую сень берез и осин разглядывали вечеряющий лес. Ветви деревьев, стелющийся по земле чахлый кустарник, трухлявый валежник и сам лесной настил под ногами – к вечеру всё покрыл налет инея. Лес был озарен загадочным, точно изнутри сочащимся голубоватым светом и казался погруженным в столь глубокую, не от мира сего тишину, что каждый шаг требовал настоящих усилий над собой. Треск сучьев и даже шелест заиндевелой листвы под подошвами разносился в стороны с какой-то пугающей достоверностью.

Вертягин скинул с себя демисезонное пальто, связал рукава узлом и стал выкорчевывать грибы с корнями, прямо на подкладку. Решил сделать Маше приятное. В его глазах засверкали одержимые огоньки. Наблюдая за его копошением, мы с Машей переглядывались. Нам вдруг стало не по себе. Было и радостно за него – много ли нужно человеку для полного счастья. И в то же время одолевала непонятная грусть, смутная и противоречивая, вызванная, как мне кажется, пониманием, что живем мы с ним в разных мирах, поразительно чуждых и несопоставимых, но всё же мало чем отличаемся друг от друга. От таких прозрений мир как бы уменьшается в своих размерах. И по этой же причине кажется менее ограниченным в своих возможностях. Ну а тот, кому всё это кажется, вдруг чувствует себя, наоборот, обделенным, как сирота, и уж конечно бесправным по большому счету и невыносимо, до отчаяния беспомощным...

С этого дня Вертягин стал наезжать в Переделкино часто. На дачу в Лесном Городке, большую, казенную, уже тогда, кажется, приватизированную, его не тянуло. Всё ему казалось там фальшивым, от развешенных по стенам натюрмортов с изображением груш и арбузов

до запаха постельного белья и хвои во дворе. Маша не обижалась, тем более что время от времени ей удавалось выманить к себе и меня.

Мало-помалу я настолько свыкся с визитами Петра, что уже не удивлялся его внезапному появлению с утра на тропинке между соснами, просматривающейся с веранды. Вертягин никогда не приезжал с пустыми руками, всегда тащил на себе всё, что мог купить по дороге со станции, – чай, кофе, сигареты, вино и овощи, если местные жители торговали у перрона чем-нибудь со своих участков. Тем самым он избавлял меня от необходимости тащиться в пристанционные магазины. Вертягин не был белоручкой, не знал, что значит бездельничать, просиживать время за болтовней, всегда находил себе занятие: помогал по хозяйству, рылся в книгах, перечитывал газеты и даже готовил. Главным же его достоинством, которое я сразу по-настоящему оценил, являлась довольно утонченная черта, приобретаемая, наверное, с воспитанием: он никогда не лез в душу. Он производил впечатление мягкого, но как бы отсутствующего человека. Не исключено, что это объяснялось его врожденной замкнутостью, при этом он вовсе не был интровертом, как тогда выражались. Возможно, я приписывал ему свои собственные черты или недостатки – в человеке замечаешь обычно то, что в той или иной степени присуще тебе самому. Так или иначе, уже вскоре для меня стало ясно, что он воплощает в себе тот самый тип «степного волка», в его более современном варианте, о котором слышали все, но редко кто видел его воочию.

Вертягин был абсолютно сложившимся типом человека-одиночки, который никогда и нигде не смог бы почувствовать себя удовлетворенным, потому что неудовлетворенность – это в природе человека. Но в то же время он никогда не стал бы требовать от жизни чего-то большего и уж тем более не стал бы требовать от других, чтобы они думали или жили так же, как он. На первых порах знакомства эти качества прельщают. Но позднее всегда чем-то отталкивают. Наверное потому, что начинаешь подозревать за всем этим душевный холод или какую-нибудь, пусть утонченную, разновидность эгоизма, а к эгоизму привыкнуть по-настоящему невозможно.

Вскоре я уяснил себе и другое. В жизни Вертягина наступил переломный период, со всеми вытекающими отсюда последствиями: метания из стороны в сторону, потребность «махнуть на всё рукой», «начать с нуля». Мне думается, что кризис настиг его с некоторым запозданием. Обычно это происходит в менее зрелом возрасте. Но подобная заторможенность была вообще типичной для французов, приезжавших в те годы в Москву, это подмечали многие. Почему именно для французов – объяснить мне не по силам. Заезжие идеалисты, вроде Петра, казались приотставшими в своем развитии избалованными недорослями, что объяснялось, разумеется, чрезмерно тепличными условиями жизни у себя на родине. Но только ли этим?

И чтобы картина была более-менее полной, остается приписать Петру наличие здоровых внутренних позывов к чему-то новому, потребность в переосмыслении себя. К этому непременно подталкивало гостеприимство и общительность русских людей того круга, с которым он поддерживал отношения в Москве. Потребность в переоценке пробуждала наверное и сама возможность оказывать услуги ближнему, и не когда-то там, а сегодня, прямо сейчас, причем совершенно конкретным людям, которые действительно нуждаются в помощи. От этой возможности – помогать! – голова у многих шла кругом.

У любого иностранца, попадавшего в те годы в Россию, даже у самого непредприимчивого, вдруг появлялась возможность почувствовать себя героем дня. И даже если предположить, что за всем этим скрывались, как всегда, иллюзии, что знать о себе давали обыкновенные колониальные атавизмы, которые нет-нет да закрадывались в душу рядового западного гражданина, имевшего возможность проводить параллели между Россией и третьим миром, уж очень они бывали навязчивыми – главным образом, из-за простодушия и избалованности среднего русского человека материальным изобилием. И даже если всё это упиралось в пла-

чевные заблуждения – в иллюзию этакого очеловечивания, вполне понятную после гнетущего оболванивания сытостью в обмещанившейся стране, от которого не было, по всей видимости, спасения у себя дома, на родине, – под этими домыслами нетрудно было подвести довольно четкую черту.

Смысл и, возможно, даже смысл жизни – вот что скрывалось за подобным русофильством тех лет. Получалось – именно то, что необходимо всем и каждому, от самого праведного человека до самого падшего. Ведь именно смысла все и ищут, каждый по-своему, на свой страх и риск. В Москве тех лет, медленно, но уверенно готовившейся к будущим катаклизмам, этот смысл поджидал на каждом углу...

Каким ветром Вертягина занесло в Москву той осенью, он и сам, скорее всего, не знал.

Что бы ни говорилось сегодня, времена были невеселые, для кого и беспросветные. Последователи маркиза де Кюстина, которых жизненные обстоятельства заносили в Москву в те годы, приезжали, как правило, по делам, по работе. Туризм, вдруг расцветший из-за дешевизны поездок и экзотической зазеркальности самой действительности, разумеется, был не в счет. Еще бы! Не задрожат ли поджилки воочию увидеть невообразимое, да еще и творящееся по соседству, пусть даже из окна экскурсионного «икаруса»? Такое не увидишь ни в одном Диснейленде. За этим скрывался старый недолеченный синдром. Мир всё еще был одурманен если не прошлым России и ее культурой, которую она смогла создать под занавес, в прошлом веке, то самой загадкой, как же всё это могло рухнуть – одним разом, ни за что ни про что...

Но нужно отдать должное биографии Петра – он-то заслуживал некоторых поблажек. Около десяти лет назад отец его служил консулом в Ленинграде. Петр познакомился с этой страной еще в юношеском возрасте, и даже если никогда не смог бы считать ее своей родиной – граждан этой страны в то время еще морили голодом и холодом в таежных «колониях» за одну, бывало, потребность почувствовать себя человеком среди рабов, – нужно ли было удивляться тому, что он продолжает приезжать в Москву и в более зрелом возрасте. Впечатления юности вообще, как известно, неизгладимы. Россия стала, хотя и небольшой, но всё же неотъемлемой частью его жизни.

Многие, кто оказался с Вертягиным накоротке, были в курсе того, что в жизни у него творится, как уже сказано, полный беспорядок. Дома в Париже он изучал право. Еще раньше успел завалить учебу на литературно-филологическом факультете. В промежутках разъезжал между США, Парижем и Западным Берлином, болтался по всей Европе, как и многие молодые люди его поколения, кому подобная жизнь была по карману и кого она привлекала. На день приезда в Москву с юриспруденцией Вертягин вроде бы завязал, не то решил сделать перерыв в учебе, чтобы получше разобраться в себе. Позднее, когда среди его московских знакомых стал расползаться слух, что они с Машей оформляют документы на заключение брака, а для этого нужно было как следует побегать, всё более-менее встало на свои места. Вертягину досталось сразу всё – Маша, цель в жизни, нормальные заботы, планы на будущее. За него можно было только порадоваться. Оставалось надеяться, что им удастся осуществить свой замысел без лишних приключений, что было не редкостью в те годы из-за ревнивого отношения властей к своеволию рядовых граждан, особенно если их подозревали в намерении сдуть за границу. Смешанный брак являлся простым и законным способом.

После бракосочетания, состоявшегося той же зимой, родители Маши устроили банкет в ресторане «Прага», который закончился, как и следовало ожидать, разгулом Машиных друзей, приглашенных на празднество в полном составе. Многие из них закладывали за воротник от горя...

Вряд ли Вертягин женился на Маше только по любви. Хотя голова у него и шла от нее кругом. Позднее он поделился со мной, что считал своим долгом, раз уж они сблизилась, выполнить по отношению к ней все свои «обязательства». Он хотел дать ей возможность свободно выезжать из страны и, если ей захочется, однажды вырваться в «свободный мир» и поселиться в нем навсегда, с ним или без него – это якобы не имело принципиального значения.

Общения с отцом Маши Петр сторонился. Брак в семье не одобряли. Отец, правда, уже со школы не мог найти на дочь управы. А тут еще иностранец, белый русский, бредовые планы! Если он и не ставил им палки в колеса, то из обывательских, как мне казалось, соображений, которым тоже иногда не откажешь в трезвости. Дочь выходит замуж по крайней мере не за забулдыгу, не за литератора с подмоченной репутацией, который, не ровен час, начнет качать права, и вытаскивать его из омуты придется уже буквально за уши. Пьянь и карьеристы – вот и весь мужской контингент страны. Какой здесь выбор для девушки из «хорошей семьи»? Судя же по среде, которая дочь постепенно всасывала, заурядная для русской женщины горькая доля была написана у нее на роду, – если, конечно, не случай.

Вертягин и был этим случаем. И неслучайно со временем папашу как подменили. Он даже стал наезжать на дачу, затеял там ремонт. Француза вдруг стали носить на руках. Петра не переставали зазывать на воскресные дачные обеды, на которые съезжалось уже не просто отребье с замашками, а настоящие сливки общества – потомки конных полководцев, родственники кремлевских портретистов, матерые латиносы в звании послов «развивающихся республик» в сопровождении молодящихся жен, похожих на преуспевших спекулянтш с Кавказа, и, как водилось в этой среде, общество непременно удостаивал своим присутствием какой-нибудь загадочный астролог из центра засекреченных исследований, с глазами субъекта, сбежавшего со сто первого километра, что не мешало ему по одним минам сидящих за столом определить, кто из них какого знака зодиака. Вертягин, как умел, отлынивал от этих застолий. Родители Маши обижались...

Петр жил то на Арбате, то в Лесном Городке. Но подолгу не выдерживал нигде. В городе – Машин круг. За городом – соседи-дачники, чуждое родительское окружение. Вечерами на чай к ним зачастил еще и сосед, живший через ограду. Знаменитый поэт тех лет – условно его можно прозвать Запеваловым, – отпетый циник, запойный пьяница, по-своему добрый малый, хотя и «самых нечестных правил», как отзывался о нем Вертягин, Запевалов уже тогда разъезжал по границам, хотя в домашней обстановке крыл режим и власть предержавшую такой руганью, что неискушенный гость терял дар речи – от страха, что угодил в лапы настоящему змею-искусителю, – а самого Вертягина не переставал поносить за его непутевую тягу к сусальной России-матушке, к чайным подстаканникам с изображением кремлевских сторожевых башен, к шапкам-ушанкам, к слезливым березкам, ко всем этим фольклорным обноскам, в которые рядился режим, прогневший, покосившийся, державшийся на одном честном слове. Колосс на глиняных ногах!.. Сразу же проникнувшись к Вертягину непонятной приязнью, поэт целился ему в лоб указательным пальцем и обвинял его в слащавой инфантильности маменькиного сынка. Вертягин обвинял поэта в заигрывании с властями и в «мефистофельщине». Они могли говорить друг другу всё, что думали. Иногда это оборачивалось руганью на весь вечер.

– Нет, ты всё-таки объясни мне... раз ты такой умный... раз ты такой француз... Какого черта ты сюда приезжаешь? – затягивал Запевалов всегда один и тот же мотив, стоило ему перебраться за столом рюмку-другую. – Водку пить? По бабам шляться? Нюни распускать?..

– Каждый судит по себе... – бурчал другой в ответ. – Вы опять поддали. Я-то тут при чем?

– Ты мне зубы не заговаривай! Не надо! Я же понимаю, не дурак, что ты всё это *презираешь*... – В устах поэта это слово звучало всегда по-особенному. – Дедушка небось с шашкой наголо по крымским просторам бегал, кишки выпускал всякой нечисти. А ты грешки его приехал замаливать? Так он правильно делал, твой дедушка! Спасибо ему скажи! Если бы Антанта,

проклятая, не сдула тогда, если бы она в штаны не наложила, мы бы сегодня были процветающей державой!.. Ты посмотри, чего они здесь понаворотили! Позорно... позорно распускать нюни... Правды ты всё равно не видишь. А увидел бы – окаменел бы на месте. Нищета вокруг! Концлагерь!..

– Слова... Позорно живете вы сами... – шел Вертягин на абордаж. – Властям одно место лижете, пишете галиматю, пользуетесь всем этим. Дача у вас откуда? В поте лица заработали? Продались – вот и получили!..

Сказанное за вечер не мешало им на следующий день как ни в чем не бывало здороваться.

Запевалов был женат. Жена, преподававшая в литинституте, на даче не появлялась. Но поскольку от одиночества он буквально опухал, когда соседи подолгу не звали его в гости – главным образом, из опасения, что чаепитие закончится очередным разгулом, – время от времени он устраивал у себя поэтические чтения, на которые приглашал всех желающих, из тех, кто жил за ближайшими заборами. Развлекать гостей приезжали и юные поэтессы – ученицы его жены и их подружки. Как-то и мы с Вертягиным оказались гостями «чтений». И весь вечер просидели, потупившись в пол.

То ямбом, то хореем декламировались вирши про весеннюю капель, про подснежники и дачные полустанки. С бесконечным заунывным ритмом отстукивающие, точно нескончаемый состав из одних товарных вагонов, когда смотришь откуда-нибудь с пригородной платформы, как он, громяхая, ползет и ползет мимо, – стихи, сшитые из одних клише, были все на одно лицо. Лишь одна из поэтесс, тихая чернявая девушка в вязаном свитере и джинсах, косившая под футуристку, отваживалась на собственные лексемы, но понять из них что-либо было трудно.

Среди зрителей в тот вечер был поэт-туркмен. Тоже знаменитость и тоже в своем роде. Он подливал масла в огонь. Будучи навеселе, со слипшимися от охмеления, утонувшими в щеках глазами, туркмен давился от немого смеха. И непонятно было, над кем он потешается – над нами с Вертягиным или над Запеваловым и компанией. Чувство юмора у гостя было необычное, какое-то многоуровневое. Минутами казалось, что он смеется над собственным смехом.

Председательствуя, Запевалов восседал посреди гарема, в любимом «испанском» кресле, схватившись кулаками за львиные морды, скалившиеся с подлокотников, и не переставая раздавать царские награды – поощрения самого Запевалова! – которыми вгонял юных поэтесс в трепет. Сменяя друг друга то в чтении, то в обхаживании гостей и одновременно выполняя роль хозяек, девушки пичкали его чаями, вареньем, коньячком. В своей родной стихии хозяин производил впечатление законченного маньяка, совершенно утратившего способность к самооценке.

Дело дошло, как всегда, до обсуждений. Запевалов попытался втянуть в них и нас с Петром. Сообразив, что сухими из воды нам не выйти, я отвесил пару комплиментов. Смелый лиризм, колорит и т. д. Но запутался.

Вертягин, вместо того чтобы целомудренно промолчать, полез меня выручать.

– После Конфуция, Гельдерлина... или, скажем, Новалиса... лично я не знаю, что такое поэзия. Гомера вот только не читал... в оригинале, – стал он объяснять. – Греческий у нас преподавали. Да я хватал двойки. Рифма мешает мне вникать в смысл. Она меня укачивает.

Вряд ли Вертягин хотел бросить камень в огород Запевалова. Но именно так хозяин истолковал его слова. Да и не мог не похорохориться перед юными музами, смотревшими ему в рот. Запевалов опять принялся поносить Вертягина на чем свет стоит. Образовательщина. Дилетантизм. Детская болезнь левизны... Вот они, болезни всего литературного запада и прозапада. Дальше «Облака в штанах» и всяческих «лебединых песен» на исторические мотивы уже не способного судить ни о чем здраво. Запевалов упрекал Петра в эмигрантской чванливости, обзывал его «вечным недоучкой» и даже «олигофреном».

– Презираю! – голосил поэт. – Пре-зи-ра-ю!

Вертягин не обижался. Даже, напротив, оскорбления придавали ему мужественности, уверенности в себе. И они опять начали крыть друг друга. В тот вечер грызня закончилась несурзным пари. Вертягин должен был за неделю выучить русскую стенографию, учебник которой валялся у поэта на подоконнике. В обмен на что, если Петру это удастся, Запевалов взял на себя обязательство не брать в рот ни капли целый месяц...

Через неделю, всем на удивление, Петр действительно научился выводить красивые, размашистые каракули. Когда его попросили расшифровать написанное, он с победоносным видом стал декламировать Фета: *«Право, от полной души я благодарен соседу: / Славная вещь – под окном в клетке держать соловья...»*

Запевалов едва ли был в состоянии сдержать свое слово. В то, что он способен «завязать», никто не верил с самого начала. Но еще через неделю, в результате своих непомерных усилий сдержать слово, данное Петру, он, перестаравшись, попал с инфарктом в кардиологическое отделение Кремлевской больницы. Чувствуя себя виноватым, Вертягин не переставал навещать больного, возил ему зефир в шоколаде – любимое, как оказалось, лакомство поэта...

Июль и август они с Машей провели во Франции. Она вернулась коротко стриженной, стала носить юбки, чулки пастельных оттенков, кофточки в обтяжку и даже научилась подкрашивать глаза и губы, чем лишь усугубляла свои проблемы. Ухажеры кружили вокруг нее теперь волчьей стаей. И даже мне, при полном отсутствии во мне нездорового любопытства, было известно, что у Вертягина, мужа, было как минимум двое постоянных заместителей, практически уже штатных.

Никто, однако, не раздувал из мухи слона. В том числе и сам Вертягин. Поначалу переживал. Но затем махнул рукой. В конце концов, разве не он намеревался одарить Машу свободой? Разве не он утверждал, что взял ее в жены, а не в наложницы? Ревность он считал пороком, уделом людей слабых, мелочных. Он клялся, что она не в его природе. Но, скорее всего, он просто хорохорился, ведь изменить всё равно ничего не мог.

На этой почве их отношения вскоре и дали первую серьезную трещину. При всей крепкощности своих взглядов, Петр, как и многие иностранцы, был связан по рукам и ногам очень традиционными представлениями об этих вещах и не понимал, что за внешним пуританством, которое бросалось в России в глаза с первого взгляда, иногда прячется дикая распоясанность.

Как-то уже весной, приехав в Переделкино около девяти вечера – дело было в субботу, – Петр, не раздеваясь, завалился в мое канцелярское кресло, которое вечерами я придвигал поближе к печке, и впервые с откровенностью заговорил на эту тему:

– То, что она изменяет мне с каждым встречным, это черт с ним... Давно не секрет ни для кого. Но вчера она мне заявляет: Петя, ты, случайно, не того? Не голубой? Что-то о тебе странные вещи рассказывают... Кто? – спрашиваю. Да так, говорит, люди... Теперь вот и за поездки сюда придется отдуваться.

– Меня она не может в этом обвинять, – успокоил я. – Мы знакомы столько лет... А насчет тебя... Вот я, например, что я о тебе знаю? – попытался я свести разговор к шутке.

Вертягин устало ухмылялся.

– Она то же самое говорит. А что, если ты всех нас, Петя, провел вокруг пальца? Говоришь одно. А на самом деле – знай наших...

– Странно, что подозревает тебя жена, – сказал я.

– Не очень я любвеобилен... если уж на то пошло. Наверное поэтому, – сказал он, всё больше смущая меня своей откровенностью; наши отношения никогда не были амикошонскими. – Когда я думаю, что в моей постели день назад нежилась какой-нибудь аспирант или нонконформист...

– Мужское общество ты явно предпочитаешь женскому, – сказал я. – Встань же и ты на ее место.

– Это неправда. Но я всегда верил... в мужскую дружбу, – наивным тоном признался он. – Прекрасный пол – это другое. Совсем другое... Поразительно всё же... У всех здесь одно на уме. Либо ты белый, либо красный. Либо розовый, либо голубой. Честное слово тебе даю, я никогда не встречал столько плотского в людях..., – стал вдруг жаловаться Вертягин. – Такой разнузданности в интимных отношениях я нигде и никогда не видел.

– Если считать русских затюканными, то будет, конечно, чему удивляться. Язычество здесь – основная религия, ты разве не понял? – продолжал я подтрунивать. – Пуританство, разводимое десятилетиями, вот где всему объяснение. Стоит заглянуть за ширму, а там... Ты прав, в тихом омуте черти водятся.

Печь почти остыла, и я пошел за углем. Вернувшись с полным ведром, я всё же выразил вслух предположение:

– Вообще-то это не случайно. Кто-то хочет вогнать клин в ваши отношения, вот что я думаю.

– Зачем?

– Хороший вопрос... Чтобы развалить ваши отношения? Или еще чьи-то. Так пойдет, и вас можно будет брать голыми руками. Будь осторожен.

– Паранойя, – отмахнулся он. – У нее просто большое воображение. Ты плохо знаешь Машу...

На некоторое время их отношения как будто бы вошли в отведенные им берега. Но затем кто-то опять впрыснул в них яд. На этот раз – школьный друг Маши и ее бывший жених. Ни с того ни с сего он был еще и заподозрен в сомнительных связях. Он как будто бы доносил на ее друзей. Хотя и непонятно, о чем и кому он мог рассказывать, кроме как об извечном и бесповоротном, уже веками, падении нравов в среде богемы. Не исключено, что парня, в свой черед, оклеветали. Художник-авангардист, выставивший свою фантасмагорическую мазню на Малой Грузинской, где черти делили в то время яблоки, – оговорить его могли для того, чтобы провести какую-нибудь очередную рекогносцировку сил в этой непокорной властям среде.

На сей раз перепало, правда, и мне. Те же абсурдные слухи, что и о Вертягине, распухали также в мой адрес. Художник был лишь инструментом в чьих-то руках. И только в этот момент я осознал по-настоящему, насколько подобные слухи могут быть обидными, когда их грамотно распространяют. Это казалось тем более обидным после стольких жертв, принесенных для того, чтобы не замараться хоть сколько-нибудь.

Вертягин меня успокаивал. Не обращай, мол, внимания. Всё – бредни. Их всё равно никто всерьез не воспринимает. Но расчет оказался верен. Даже сами заверения Вертягина казались оскорбительными. Оставалось сделать вывод, что кому-то действительно нужно было вгонять эти клинья, один за другим, в отношения Вертягина со своим окружением. И делалось это очень топорным методом...

Продолжая продлевать визу с помощью Маши и не без участия тестя, Петр не переставал наводить по Москве справки о том, каким образом он может обеспечивать себя материально. Работать при своем посольстве – знакомые предлагали ему вакансию – он не хотел. Боялся попасть в «гетто» соотечественников. Ради чего в таком случае он уехал из Франции?

Вертягин был уверен, что сможет прокормиться своими силами. Имея кое-какой опыт редактирования, он рассчитывал найти себе применение в нейтральной среде – в представительствах западной прессы, для которых иногда и работал по рекомендации. Как-то раз он переводил для американцев, со съемочной группой ездил в Ленинград. Затем знакомый из агентства Франс Пресс, которому пришлось поехать в Новосибирск, в Академгородок, освещать «светлые страницы взаимовыгодного сотрудничества», нанял Вертягина переводчиком.

Петр вернулся в Москву с целым альбомом снимков, на которых позировал в обнимку с космонавтами. Когда же в Москве, позднее, речь зашла об очередном ангажировании в том же качестве, военные в высоких чинах, опекавшие космонавтов, преградили Вертягину вход на пресс-конференцию, а через пресс-службу МИДа дали знать в агентство, что присутствие П. Вертягина в роли переводчика «нецелесообразно», на том основании, что он не являлся профессионалом своего дела; вместо него предлагалась целая рота своих кандидатов, на выбор.

Кроме этих эпизодических заработков, довольно внушительных по московским меркам того времени, – гонорары исчислялись тысячами тогдашних рублей, – Вертягин рассчитывал на заказы по редактированию переводных изданий и даже собирался писать рецензии на ширпотреб, штампуемый на французском языке внешнеэкономическими ведомствами, воспользовавшись рекомендацией одного из знакомых Маши, и отказываясь понимать, что ему никто не будет там выплачивать таких гонораров, как за работу с космонавтами. Затея так ничем и не обернулась.

Подытожилось всё вскоре логичным образом. Я как в воду глядел. Однажды во время приема в отделе виз в Колпачном переулке принимавший Петра сотрудник в звании майора, уже знавший его по прежним визитам, разговорившись со своим подопечным о его московском житье-бытье, услышал от Петра, что он был бы не прочь устроиться в Москве временно на работу.

Офицер с красными погонами принял его нужды близко к сердцу. Он пообещал поговорить с кем-то из своих знакомых, в частном порядке. Один из его друзей был якобы журналистом и мог удружить дельным советом. Овировец оставил Петру свой домашний телефон и попросил позвонить через пару дней. Предложение не вызвало у Петра вопросов. Он полагал, что тот проявляет обыкновенную любезность, только и всего. И когда Петр действительно напомнил о себе звонком через пару дней, сотрудник отдела виз заверил его, что знакомый журналист, некто Василий Петрович, согласен похлопотать. Василий Петрович был якобы истым франкофилом и рад был случаю оказать джентльменскую услугу французу. По счастливому совпадению, как раз в это время Василий Петрович подыскивал кандидата с профилем Вертягина для конкретного дела. Речь шла об издании «подборки» на французском языке в одном из госиздательств. Василий Петрович был готов встретиться с Вертягиным и обсудить, что к чему. Он хотел выяснить, на что тот способен.

Встреча состоялась на Чистопрудном бульваре. По рассказам Петра, Василий Петрович оказался компанейским малым не старше сорока. Достаточно было пяти минут оживленной дискуссии, чтобы понять друг друга. Василий Петрович, недолго думая, предложил Вертягину написать статью о правовых новшествах в современном французском законодательстве, распространяющихся на сферу социальной защиты населения. После этой статьи – по привычным для меня меркам оплачиваемой слишком щедро – Василий Петрович обещал другие аналогичные «заказы». Имелся якобы настоящий «спрос»...

Всё это происходило поздней осенью. Я оказался в отъезде и некоторое время был не в курсе происходящего. Затея со статьями, естественно, забуксовала. Тема, предложенная Петру, была необъятной. Без серьезной документации под рукой осилить такую статью вряд ли было возможно. Вместе с тем тематика отдавала «тенденциозностью». Нужно было быть полным идиотом, чтобы не понимать, к чему всё идет. Петр не знал, как потактичнее увернуться от дружеской опеки Василия Петровича. Но риск манил, как сам он позднее признавался, подобно тому, как манит к себе иногда пропасть, распахивающаяся под ногами.

Переговоры Петра с Василием Петровичем завели, как и следовало ожидать, в тупик. Во время очередной встречи тот неожиданно предложил Вертягину выложить карты на стол. Василий Петрович сразу подал пример. Он стал объяснять, что журналистом он был лишь по совместительству. В звании подполковника он давно состоял на службе в том самом учреждении, которое на людей малограмотных и несведущих наводит тихий ужас, а еще точнее,

при 5-м управлении этого учреждения, которое «обслуживало» наведывавшихся в страну иностранцев – простофиль вроде Вертягина, и, если не ошибаюсь, свою собственную пятую колонну. Василий Петрович уверял при этом, что не так страшен черт, как его малюют.

Поначалу мягко, отеческим тоном, а затем уже не церемонясь, Василий Петрович припер Петра к стенке. Выбор ему предлагался простой – проще пареной репы. Либо он соглашается оказывать мелкие «одноразовые» услуги. Либо «лавочка закрывается». Раз и навсегда. Сколько можно? Никаких больше продления виз. Никаких больше круизов с женой за пределы страны.

«Одноразовая» услуга заключались в сборе сведений личного характера об одном из преподавателей Высшей школы магистратуры в Париже. Кроме того, Василия Петровича интересовали сведения об одном из сослуживцев отца Петра, дипломате. Как и личные впечатления Вертягина о некоем Томасе из посольства, который являлся сотрудником отдела культуры. С кем водится? Зачем разъезжает по всей стране? Почему водит к себе домой «путан» из Хаммеровского центра, при своем полном равнодушии к слабому полу? Прикрываясь будто бы нелегальной скупкой антиквариата – бесценное добро скупается якобы по всей Москве, за любые деньги, и беспрепятственно вывозится во Францию в опечатанных дипломатических контейнерах, но лишь для отвода глаз, – тот якобы работает не покладая рук на спецслужбы.

Позднее Петр рассказывал мне, что при всей карикатурности своего положения и несмотря на некоторый холодок, который не мог не пробирать его до костей от столь резкого поворота событий, комбинатор из 5-го отдела Василий Петрович не вызывал у него отталкивания. Он делал свою работу. И скорее всего, даже преуспевал в своем деле.

– Сожалею, дружище, что так вышло, – стал тот извиняться. – Я знаю, что ты никому зла не делал, что ты неплохой парень. Но не мы с тобой этот мир придумали. Не мы его изменим. А жить в нем предстоит вместе. Так что выбирай. Главное – не драматизируй.

Что касалось преподавателя парижской Школы магистратуры, Петр не мог взять в толк, кто и как мог рассчитывать на него, помимо самих заблуждений на его счет лично, в реальном получении через него подобных сведений. К Школе магистратуры он не имел никакого отношения. Слышал о том, что есть такой преподаватель, с названной ему русской фамилией. Да один его знакомый по Парижу действительно учился когда-то в этом заведении. Каким образом из него, Вертягина, собирались выкачивать сведения? Какие именно?

Аналогично дело обстояло и со знакомым отца, который служил при министерстве внешних сношений Франции (так называлось в те годы министерство иностранных дел). На правах многолетнего друга и сослуживца этот человек действительно бывал у отца дома. Но и здесь расчеты Василия Петровича и тех, кто стоял за ним, отдавали несуразностью, почти загадочной.

Что же касалось Томаса из посольства, Петр поддерживал с ним отношения поверхностные. Томас благоволил ему, потому что одна его родственница была знакома с матерью Петра, писательницей, а отец был дипломатом и мог, вероятно, посодействовать по линии своего министерства в продвижении по служебной лестнице. Шефство Томаса над Петром заключалось в том, что тот изредка возил его в Серебряный Бор на дачу посла, в выходные дни предоставляемую в распоряжение рядовым сотрудникам посольства, всем поочередно, где они играли в пинг-понг, да время от времени служил ему кассой взаимопомощи – давал денег взаймы, получая от него в гарантию банковские чеки, которые инкассировал во время поездок в Париж на свое имя.

Позднее Петр рассказывал мне, что в отношении Томаса все, вероятно, соответствовало действительности. Василий Петрович «сливал» ему правду. Однажды пригласив Вертягина поужинать в «Метрополь», воспользовавшись тем, что они вместе отправились в туалет, Томас прямо спросил его, не хочет ли он «помочь родине».

Петр ответил, что готов помогать кому угодно, но просил не взывать к его патриотизму. Чувство родины ассоциировалось у него не с приростом валового продукта Франции, от которого страна еще богатела в те годы, не с ее военными, космическими и прочими достижениями, – пока она чесалась, кое-кто уже разгуливал по Луне, руки в брюки... – которые могли быть, не ровен час, скомпрометированы деятельностью темных иноземных сил, а с выбором сыра на прилавках французских магазинов, с бутылкой хорошего «Côte-Rotie», с раскрашенными в райские цвета закатами Прованса, но этими чудесами можно любоваться на всех южных широтах Западной Европы.

Мне остается лишь засвидетельствовать, насколько Вертягин приbedнялся. Он почитал Францию, и в том числе за ее достижения, хотя и без показного патриотизма. Он считал, что ему повезло родиться в столь благополучной стране в период ее послевоенного расцвета – в стране, народ которой не способен рвать на себе рубашку по всякому поводу и без повода, не любит выставлять напоказ свою гордыню, не умеет отстаивать свою независимость на поле брани и не способен, если разобраться, сложить кости за идею. Но за счет тех же слабостей он и является исконно миролюбивым, обладая редчайшим, чуть ли не зоологическим даром созидания...

Зимой, в самый разгар холодов, у меня на даче задымила печка. Топить по ночам я побаивался – можно было не проснуться от угарного газа. Протянуть же на одном электрообогревателе уже не удавалось. На несколько дней, пока моя хозяйка разыскивала своего брата, обещающего привести печку в порядок, Петр позвал меня в Лесной Городок, где он жил в то время безвыездно.

Он выделил мне дальнюю комнату, где обычно ночевали гости. Из окна была видна дача и двор соседа Запевалова. Время от времени я видел, как тот появлялся у себя на веранде и, подолгу глядя на наши окна, замечая в освещенном окне чей-то силуэт, мой или Вертягина, начинал нам показывать кулаки. Я, мол, вам покажу, где раки зимуют, диссиденты! После больницы Запевалов успел побывать за границей, но страдал, как жаловались Вертягину другие соседи, дисфорией. Иначе говоря – беспричинным озлоблением.

Здесь я и провел праздники. Встречали мы Новый год все вместе. Приезжала Маша с друзьями – томная, опять похорошевшая, опять было решившая «вернуть всё вспять» в своих отношениях с Петром. Однако уже на второй день они что-то не поделили. В новогоднюю ночь поэт устроил в своем дворе настоящий фейерверк, – вернувшись с «гастролей» по Восточной Германии, он привез оттуда целый чемодан петард. Праздники отгремели, а моей хозяйке всё не удавалось привести печку в порядок. Мне пришлось остаться в Лесном Городке еще на две недели.

В январе Петр ездил в город редко. Если что-то и заставляло его бывать в Москве, то он уезжал с утра пораньше и возвращался засветло, то есть практически в послеобеденное время, так как дни стали совсем короткими. Уехав как-то по своим паспортным делам – был канун православного Рождества, – он застрял непонятно где до самой ночи.

Волнуясь, я бродил по дому. Потом оделся и вышел чистить дорожку, хотя бы от ворот к крыльцу. За окном валил сильный снег. Вдали прогремела последняя электричка. Было около двух часов ночи.

До Лесного Городка теперь можно было добраться только на машине. Но кто ночью, да еще в такой снег, поедет из города в дачную глухомань? Минут через десять за воротами, однако, послышался скрип шагов по снегу.

На Киевском вокзале никто из частников, как я и предполагал, не захотел тащиться за город, и Петру пришлось дожидаться последнего поезда. В вагонах почти не было отопления, и он продрог до костей.

Спать нам не хотелось. Он заварил чай. Но вместо чая предложил выпить по рюмашке. Сходя за бутылкой на улицу – он любил припасать бутылку водки в снегу на морозе, прямо под крыльцом, – он сел за стол и произнес:

- Сегодня состоялся заключительный акт.
- Тебе визу не продлили?

Он действительно успел побывать в отделе виз. Принявший его сотрудник – знакомого на месте не оказалась, – вернул ему паспорт без визы, пожурив за нарушение паспортного режима. В ОВИРе было известно, что Петр жил не у жены, не по тому адресу, который указывал в документах. Единственный выход на будущее – оформление вида на жительство. Так ему посоветовали. Но для этого ему необходимо было вернуться домой во Францию и делать запрос из Парижа.

- Это не самое страшное, – сказал Петр. – Я виделся с Василием Петровичем.
- Опять?!

– Он позвонил, хотел побеседовать. Для этого я и ездил. Виза... Это уже потом стало ясно.

- Отказаться ты постеснялся... – упрекнул я.
- Я предпочитаю брать быка за рога.
- За рога берут тебя.

Он усмехнулся и стал рассказывать подробности:

– Я не понимаю, всерьез или так, но сегодня мы говорили обо всех подряд... Они всех вас знают наперечет. Ты в списке. И знаешь, как тебя там называют? Вечным дачником.

- Простить не могут... за дядю, который смылся. Но это не ново, – сказал я.

– Да нет, их вроде другое злит. Ты через Грэмма рукописи переправлял? Было такое?.. Он их почтой с главпочтамта, что ли, посылал?.. Надо же быть такой бестолочью! – выругался Вертягин, имея в виду не то Грэмма, не то меня. – На твоём месте я бы не обольщался такой дружбой. Грэмм, чтобы ты знал, любит две вещи – себя и свое благополучие. Он запасается клубникой на зиму. Покупает ее летом на базаре и держит в морозильнике всю зиму... не знал об этом?

Я скептически помалкивал.

– Одним словом... Василий, комбинатор, мне так и сказал: «На этот раз ты уедешь без продления визы. Единственная возможность вернуться в Москву – это привезти всё то, о чем тебя попросили...» Сам факт обращения за визой в консульство в Париже будет якобы означать, что я согласен с их условиями... Как тебе такой сценарий?

- Вы давно уже на «ты» с Василием Петровичем? – спросил я.

– Какая разница? Я тебе объясняю... русским языком, что мне показали на дверь, – вспыхнул Петр. – Меня выдворяют... Так это называется?

- Так не выдворяют, – сказал я. – Ну уедешь... Через два-три месяца о тебе забудут.

Таких, как ты, здесь пруд пруди.

- Легко сказать.

– Когда они начинают так обрабатывать человека, у них есть на это причины.

- Например, какие?

– Может, им отец твой нужен?

- При чем тут отец? Старик. Трубит в министерстве, сидит в подвале, – отмахнулся

Петр. – Кому он нужен?

– На твоём месте я бы, не раздумывая, ехал домой, – сказал я после некоторого раздумья, – причем ни дня бы не откладывал.

- А Маша?

– Отец не даст ее в обиду. Всё отстоит. Через некоторое время вернешься. Не могут же они не пустить тебя назад.

– Почему не могут?

– Времена давно не те.

Петр помолчал, а затем его как прорвало:

– У тебя всё просто... Плюнуть на всё, хлопнуть дверью. Так вы все и делаете. Да что вы все себе вообразили?! Что там рай? Что только о вас там все и думают? Да понимаешь ли ты, что всем наплевать на вас? Лишь бы вас не видно было и не слышно...

– Иначе загребут, – пригрозил я. – Тебя завербуют.

Но остановить его уже было невозможно:

– Все вы заодно. Все вы сидите и ждете, что какой-то дядя придет и всё за вас сделает. Всё изменит! – Петр делал явную аллюзию на моего дядю, жившего в Нанте. – Вода не течет под лежащий камень. Вы привыкли делить друг друга на «мы» и «они». Да кто такие – вы? Кто такие – они? Этот Василий, из 5-го отдела, видел бы ты – такой же, как все. Нормальный парень. Просто дурак. А может быть, дети у него, семья. Ведь их кормить нужно. В какой стране можно жить вот так, как ты живешь? Сидеть, рыться в книжках! Снежок подметать под Шестую симфонию! Мышей морить по углам! А остальное – пропади оно пропадом! Конечно, всё относительно. Я не сравниваю. Но всё же... Поверь мне, там, во Франции, на Россию всем начхать. Там любят несчастную Россию. Любят смотреть по телевизору «Доктора Живаго», состряпанного в Голливуде... с Омаром Шерифом в каракулевой папахе... Но по духу вы им чужды. Вас боятся как огня. Вы – антиподы. Однажды увидишь, когда всё рухнет. Когда всё встанет на свои места... здесь, в Москве... ты вспомнишь мои слова... Но ты прав. Программу пора сворачивать...

Я так и не понял, почему никто, кроме меня, не поехал проводить его в аэропорт. Напоследок он что-то невнятно мне объяснял, но я уже не вдавался. Как бы то ни было, в Шереметьево, перед перегородами таможенного зала, мы топтались с ним вдвоем.

Вещей у Вертягина было мало, один небольшой чемодан. Петр хотел было отдать мне оставшиеся у него рубли, но решил облагодетельствовать носильщика, которого мы взяли, выбравшись из такси, непонятно зачем – не успели отвертеться. Всунув в пятерню ушлого на вид малого две купюры, Вертягин млел от удовольствия. Нагловатый, с задоринкой в физиономии, тот едва не отвесил ему поклон и, решив, что за рвение ему могут прибавить еще, схватил чемодан и стал проталкиваться без очереди, мы едва его остепенили.

Уже за стойкой, пока офицер таможи просматривал содержимое чемодана, Вертягин приблизился ко мне и с виноватой миной произнес:

– Я тебе напишу. Тебе позвонят... – и шепотом добавил: – Пароль назовут такой: «Хорошо там, где нас нет». Только не забудь...

Из двух или трех писем, полученных от Вертягина после его отъезда – передавал их всё тот же Грэм, еще на некоторое время застрявший в Москве, – трудно было составить ясное представление о том, что Петр решил делать, как собирается жить дальше. Судя по всему, с Москвой он решил повременить – главным образом из-за того, что с Машей у них ничего не получалось. Затем он вроде бы вернулся на факультет, решил завершить юридическое образование. Уже вскоре стали доходить слухи о том, что они таки затеяли с Машей развод – заочный, опять требующий оформления несметного количества бумаг. Глядя на происходящее со стороны, знавшие их люди лишь изумлялись этому ужасающему транжирству. И уже позднее, всё от того же Грэма мне стало известно, что Петр, защитив диплом, начал обычную для адвоката карьеру: попал на работу в известную контору, специализировавшуюся в крупном международном бизнесе, но сам в ней вел гражданские дела. Я был искренне рад, что жизнь его вошла в нормальное русло. Хотя и сожалел, что он перестал давать о себе знать. В глубине души мне, однако, трудно было поверить до конца, что ему удастся втянуться в ту жизнь, от которой еще вчера он был готов сбежать на край света.

Позднее, когда и я, в свой черед, оказался во Франции, наши отношения так и не возобновились. Причин для разрыва не было. Но не было причин и для поддержания отношений. От мира юриспруденции я жил за тысячи километров, да и поселился сначала на юге Франции. С уверенностью можно сказать и другое: Вертягин не рвался к возобновлению отношений с прежними кругом московских знакомых, по-видимому решив, что если уж нужно поставить на прошлом точку, то лучше это сделать сразу, раз и навсегда.

Нам довелось всё же увидеться дважды. Первый раз – на Пасху, на рю Дарю. В дни больших церковных праздников из-за столпотворения, образующегося в церковном дворе, бывает иногда трудно попасть внутрь собора, если прийти слишком поздно – не ради заутрени, как бывает, а чтобы отметить, память бока соотечественникам. В том году я оказался в числе последних.

Раскаиваясь за опоздание, с улицы я слушал службу на французском языке, доносившуюся через громкоговоритель из крипты – второго «нижнего» храма. Оказываясь вовлеченным то в один людской поток, то в другой, в какой-то момент я оказался отесненным к дому причта, почти к ограде, и уже решил было уходить, не дожидаясь знакомых, которые звали меня на ужин по окончании литургии, – но они находились внутри, и их всё равно было не найти, – когда вдруг на плечо мне кто-то положил руку. Рослый незнакомец смотрел на меня внимательным взглядом и чего-то ждал. Я не сразу узнал Петра Вертягина. Затем мы стали без слов трясти друг другу руки.

Он был одет в серый будничный костюм, казался непохожим на себя прежнего, заметно постарел. Не менее удивленная вопросительная улыбка блуждала по лицу его светловолосой спутницы, не русской по виду, с которой он переговаривался то по-французски, то по-немецки. Ей явно было невдомек, как в такой толпе, из одних зевак, все как один целеустремленно глазевших на вход в собор, с таким видом, словно здесь должно было вот-вот состояться явление Христа народу, у ее кавалера могут быть знакомые.

Во дворе опять произошло брожение. Вертягин пообещал вернуться через пару секунд, попросил меня дожидаться его за оградой, на тротуаре, и пошел кого-то разыскивать. На всякий случай он сунул мне в руку свою визитку. На всякий случай я сделал то же самое. Его долго не было. Ждать было бессмысленно, к тому же заморосило...

Во второй раз мы увиделись у него дома. Примерно через месяц я получил от Вертягина приглашение на приватную вечеринку. Адрес и на конверте и на картоне красовался загородный – местечко под названием Гарн, о нем выше уже упомянуто. Что являлось поводом званого вечера, из текста приглашения трудно было понять. Что мне там было делать? Однако в назначенный день, наткнувшись в еженедельнике на сделанную пометку, я надумал-таки поехать. Возможно, просто поддавшись благодушному легкому настроению: был июнь, в городе стояла духота, в такие дни всегда хочется выбраться куда-нибудь за городские окраины.

Вертягин, как оказалось, созвал знакомых не просто на вечеринку, приуроченную к новоселью, а на настоящий загородный раут. Съехалось несколько десятков гостей. Небольшая усадьба, старенький белокаменный дом с флигелями, стал собственностью Вертягина совсем недавно. Но он уже успел сделать кое-какие перестройки. Вокруг дома простирался обширный, на редкость ухоженный участок размером около гектара. Покатый и вытянутый, изрезанный аллеями и засаженный розами, парк спускался к лугам, ярко зеленевшим в лучах багрового предзакатного солнца. На ровно стелющейся ниве паслись овцы. С левой стороны луга выходили к молоденьким лесопосадкам. А дальше, на взгорье, огибавшем поселок с запада, темнел лесной массив.

Всё здесь казалось до неестественности идиллическим, если принять во внимание, что до Парижа было рукой подать. Усадьбу вряд ли можно было отнести к категории зажиточных. Но для тех, кто умеет ценить чистый воздух и загородную тишину, кто с молодости дорожит

своим здоровьем и может себе позволить небольшую роскошь, пристанище было всё же завидным.

Вертягин потратился на буфет, на прислугу. Официанты в белых пиджаках и с бабочками шныряли через газоны, предлагая гостям шампанское, соки, крохотные пирожки из слоеного теста, желающим – ледяную водку в увесистых, запотевших рюмках, похожих на небольшие граненые стаканчики, – в точности такие же, какими Вертягин пользовался на даче в Лесном Городке.

На этот раз толпа состояла из родственников, знакомых, соседей и, как я понял, из юристов различных гильдий и сословий, которые всегда и всюду производят почему-то удручающее впечатление, особенно в таком скоплении. Пожалуй, всё же своим благополучием, афишировать которое как-то не принято, но и скрывать его было бы ложной скромностью. А удручает оно, потому что при виде столь единодушного корпоративного самодовольства становится вдруг ясно как божий день, что неблагополучие одних простых смертных (кто нуждается в правосудии) приводит к преуспеванию других. В силу чего не только само «правосудие», но и любые смежные с ним понятия, вроде «свободы», «равенства», «братства» и «справедливости», кажутся какими-то дьявольскими изобретениями, которыми одни люди без зазрения совести пользуются, чтобы верховодить другими, более слабыми и менее хищными от природы, под предлогом тех или иных своих природных, опять же, задатков, реальных или мнимых.

Своим присутствием общество удостоил и Вертягин-старший. Суховатый, рослый, загорелый, с совершенно лысым черепом, старик Вертягин разгуливал по газону в темно-синем блейзере на металлических пуговицах, в светлых брюках и в английских туфлях из черной замши.

Отца Петра я видел впервые и не мог не удивляться их физическому сходству. Когда они оказывались рядом, в этом сходстве, зеркально отображавшем лет тридцать возрастного разрыва, было что-то обескураживающее, даже отталкивающее. И в отце и в сыне бросалась в глаза породистая сухопарость, одинаковое выражение невозмутимой задумчивости, буквально отпечатавшейся на лице и того и другого, но где-то на уровне глаз, не в самих глазах, – деталь, пожалуй, странная. Петр не успел обзавестись разве что лысиной, как отец. Своим светлым, крепким лицом он выдавал в себе человека здравствующего, в расцвете лет и сил, хотя и выглядел немного старше своих лет.

После обмена любезностями с Вертягиным-старшим Петр решил дать за мной поухаживать своей молодой «подруге» – дабы я мог поупражняться в немецком. Ее-то вместе с ним я и повстречал однажды на рю Дарю.

Звали ее Мартой. Австрийская подданная, чуть моложе тридцати, правильное лицо, полный рот, окаймленный выразительными ямками, живые карие глаза, золотистые волосы, гладкая прическа. Она вряд ли могла сойти за красавицу. Для этого ее внешности не хватало какого-то последнего уточняющего штриха. Несмотря на легкий акцент, придававший ее речи типичную после немецкого языка рыхловатость, по-французски она говорила безукоризненно правильно и бегло...

В разгар вечеринки я оказался в одной компании с отцом Петра, и мы разговорились. Разговор вышел праздным, но, может быть, поэтому он и припоминается мне с такой отчетливостью. Как только до Вертягина-старшего дошло, что я – эмигрант третьей волны, то есть бывший советский подданный, он стал сверлить меня вопросительным взглядом, к которому примешивалась настороженность – это легко угадывалось по его умным, пронизательным, но холодным глазам. Шевеля одной бровью, он принялся расспрашивать меня о Москве, Петербурге, обо всем подряд. Я с вдохновением плел всякую чепуху, сразу почувствовав перед собой не просто человека, умевшего говорить обо всем и ни о чем, но собеседника-профессионала.

Всё, что касалось России, вызывало у Вертягина-старшего самый живой интерес. Хотя он с трудом понимал, что там теперь происходит. Нить событий для него давно оборвалась. Так, слово за слово, я был посвящен в «семейные новости» Вертягиных. Он, отец, перебрался из Нанта в «родные места», на юг. Петр стал сам себе «хозяином», открыл собственную адвокатскую контору, врата карьеры теперь были распахнуты перед ним настезь. Когда Вертягин-старший говорил о сыне, он называл его русскими именем «Петр», но с французским выговором. По его тону чувствовалось, что он рад за сына, а вместе с тем как бы отказывается принимать его всерьез...

О чем мы говорили в тот вечер с самим Петром, мне даже не удастся вспомнить как следует – тоже обо всём и ни о чем. В наших отношениях чувствовалась какая-то неясность. Оба мы делали вид, что всё по-прежнему, что мы не изменились. К счастью, не стали корчить из себя закадычных друзей. Шум и гам вокруг, галдеж соседской детворы, шнырявшей между взрослыми, медленно надвигающиеся сумерки, беготня официантов, которые расставляли по саду, погрузившемуся во мрак, свечи-фонарики, грохочущая на террасе музыка, собиравшаяся гроза, которую предвещали раскаты грома вдаль, детские слезы из-за неподделенной игрушки... – это все, что запомнилось.

Чему и удивляться? Если взглянуть на вещи неподвзятым взглядом, встречи с прошлым, даже если они оказываются часто тяжелыми, несут в себе что-то отрезвляющее. Вдруг понимаешь, что в жизни всё правильно, логично и закономерно, что по-другому быть и не может. И с этой самой минуты новыми мерками измеряемое время вторгается в душу уже новой доминантой, которую невозможно описать словами. Но также невозможно после этого делать вид, что всё остается по-прежнему. Невозможно не подстраивать под эту доминанту свое мироощущение или даже всё свое существование – на новом его витке.

Что, как не время, оберегает нас от стихийности абсолютного? Все, видимо, просто. Гораздо проще, чем кажется на первый взгляд. Тот факт, что кто-то или что-то неотступно стоит у нас над душой, неотступно преследует нас по пятам, чего-то от нас беспрестанно добиваясь, видимо, не означает, что этот «кто-то» волен изменить нашу жизнь в лучшую или в худшую сторону...

Тот, кому доводилось бывать в департаменте Ивлин в середине восьмидесятых, конечно, еще помнит, сколь живописен был в те годы западный район Иль-де-Франса. Прилегающая к Шеврёзской долине местность красотами своими может уложить наповал и сегодня, стоит свернуть в сторону с главной транспортной артерии, которая тянется сюда из Парижа будто пуповина. Но в этом смысле и сама столица, глядя на вещи отстраненным взглядом, откуда-нибудь с сельского шоссе, затерявшегося среди всходов рапса, маиса или пшеницы, напоминала в те годы не крупнейшую в мире агломерацию, а изнуренную роженицу, лениво лелеющую под боком несмышленного детеныша...

Загородная жизнь входила в моду. Вместе с ней в моду входили еще не оприходованные городом, но обжитые и даже отдаленные окрестности, где могли найти себе пристанище все те, кому больше не хотелось связывать себя с городом, но кто не имел возможности порвать с ним окончательно. Мода вписывалась в настроения эпохи. И сколь бы ни были они скоротечными, главная тенденция подчинялась, как всегда, простой закономерности: новый возврат к старым мерилам.

Кардинальный разворот во нравах был, наверное, своевременным после многолетних, разгульных праздношатаний, которые многим достались в наследие еще от шестидесят восьмого года. Сам дух этих лет давно уже канул в Лету. Но целое поколение людей продолжало жить с оглядкой на прошлое. Пока спрос на новые, более приземленные ценности не стал, наконец, повальным. Неслучайно носителями новых «приземленных» ценностей оказались как раз праздношатающиеся – все те, кто вчера вынашивал веру если не в «закат Европы», то в «гибель

богов», а теперь, сжившись и с этой необходимостью – с необходимостью жить, разуверившись в идеалах, как сживаются с врожденной болезнью, – научился довольствоваться поверьем, что данная форма существования является наименее худшей из всех существующих. Но таковы законы природы. Рано или поздно всё меняется если не по сути своей, то по форме...

Умеренные расстояния от города и цены на недвижимость, по которым дома и целые усадьбы стали выставляться в Ивлине на продажу, создавали заманчивое соотношение для личных капиталовложений, и они потекли рекой, вливаясь во всеобщий спекулятивный бум. В Шеврёзской долине дома продавал люд нередко исконный, живший на доходы от сельского хозяйства. Обольщение внезапным ростом цен на жилье стало едва не поголовным. В своем стремлении подзаработать на «камешке» местные жители руководствовались, впрочем, и объективными знаменами времени. Сельскохозяйственная деятельность в районе приходила в упадок. Рентабельность фермерских хозяйств шла на убыль. Содержать их становилось непосильным...

После нескольких лет, проведенных в Париже, Петр Вертягин был по-прежнему далек от намерения устраиваться в столице. Прокопошиться всю жизнь в муравейнике, затеряться среди судеб себе подобных – ничего более безотрадного он не мог себе представить. Пускать корни в столице Вертягин не собирался даже в тот момент, когда на предложенный отцом аванс в счет будущего наследства он приобрел собственную квартиру. Студия находилась на рю Лежандр, в семнадцатом округе. Купить ее удалось чуть ли не с молотка. Теснота квартирки являлась залогом временности. И вот по истечении двух лет он понял, что квартира стала лишь ярмом на шее. Нерешительность с переездом в провинцию теперь выходила боком. Однообразное городское существование с каждым днем отвращало всё сильнее. Кабинетная работа, нескончаемые будни, рутинная, мало-помалу стандартными становящиеся запросы и отсутствие главного... – именно так и жили здесь все. Еще год-два такой жизни, и полная внутренняя несостоятельность была гарантирована.

Вместе с тем как можно было думать о переезде теперь, когда карьера пошла в гору? Переселение перечеркнуло бы всё разом. И Петр всё больше склонялся к мысли, что лучше искать какой-то половинчатый выход. Для этого следовало в первую очередь похоронить голубые мечты о сладкой жизни в солнечном южном захолустье и всерьез думать о приобретении постоянного жилья под Парижем...

На поиски уходили все выходные. Без машины обойтись было невозможно, и он обзавелся стареньким, маститым «пежо» черного цвета. Составив четкий план, Петр навевался то по одному, то по другому объявлению. За месяц ему удалось осмотреть в Ивлине десятка полтора домов – с участками, без участков, с бассейнами, с колодцами, с теннисными кортами, попадались и такие, что просто ожидали сноса. В конце концов ему пришлось признать очевидное: устремлять поиски только на этот район было опрометчиво. Цены на недвижимость в Ивлине оказались сильно взвинченными.

Затем поездки пришлось приостановить совсем. С тех пор как он стал жить не один – «спутницей жизни» стала молодая австрийка родом из Вены, – времени на езду по пригородам не оставалось. Марта Грюн, изучавшая историю архитектуры, в Париж приехала на стажировку, планировала писать во Франции диссертацию по романскому зодчеству, однако по воле обстоятельств решила повременить как с диссертацией, так и с возвращением в Вену.

Студию на рю Лежандр Петр сдал в аренду и снял трехкомнатную квартиру в Версале, поближе к новому месту работы, после того как наконец отважился принять давно сделанное ему предложение: на правах компаньона и пайщика он влился в адвокатскую контору, основанную университетским приятелем Фон Ломовым. Как и Петр, русского происхождения, но родившийся в Бельгии, рано осиротевший (отец его был из померанского юнкерства, мать русская), Серж Фон Ломов вырос под крылом брюссельского дяди, затем парижской тети

и, наконец, персонала закрытого интерната в Мезон-Лафите, куда родственники отдали его на полное содержание. Едва получив университетский диплом, Фон Ломов практически сразу понял, в какую сторону дует ветер. «Трубить» на зарплате, как большинство однокашников, ему не хотелось. Недолго думая, он выторговал в банке кредит и открыл в Версале собственную адвокатскую контору. С первого дня основания кабинета Фон Ломов предлагал Петру объединиться в одно юридическое лицо. Но Петр тянул, опасаясь, что дружеские отношения, которыми он дорожил, от этого могут пострадать.

За истекшее время контора разрослась, в нее вошли другие компаньоны, кабинет встал на ноги. Некогда сделанное Вертягину предложение утратило свою актуальность. Но Фон Ломову удалось убедить компаньонов в необходимости пойти на новое «расширение». Всё произошло само собой: во время обоюдных смотрин, организованных Фон Ломовым у себя дома и неожиданно вылившихся в незабываемый «мальчишник» (с утра у всех трещали головы от виски), Вертягин принял окончательное решение – объединяться...

Осенью восемьдесят девятого года Марта Грюн случайно обмолвилась об очередной возможности взглянуть на дом, который продавался в Ивлине, в небольшом местечке Гарн, неподалеку от Дампиерра, как раз в тех местах, которые Петр исколесил недавно вдоль и поперек, когда ездил по объявлениям. Родственник Мартиных друзей жил в Шеврёзской долине и дом видел собственными глазами. Он советовал садиться в машину и мчаться осматривать дом немедленно – когда еще представится такая возможность?

Казалось очевидным, что недвижимость не могла за это время подешеветь, и особых иллюзий Петр себе не строил. Но именно в эту осень очередную помощь предлагал отец. По выходе на пенсию перебравшись в родной Прованс, в Ля-Гард-Френэ, Вертягин-старший решил расстаться со своей квартирой возле Люксембургского сада, быстро и удачно ее продал, что позволило ему отложить для сына еще полмиллиона франков, на случай, если он надумает приобрести что-нибудь более основательное, о чем они уже неоднократно говорили.

Петр отправился в Гарн в ту же субботу, не столько из любопытства, сколько из расчета, что эта прогулка послужит толчком для возобновления поисков. Дом находился на краю большого поселка, окруженный аналогичного типа, но более зажиточными домами с довольно большими участками. Места выглядели обжитыми, ухоженными. Ни фермерских хозяйств, никакого жанрового, сочащегося колорита сельской жизни, а тем более обособленности от соседей и от населенных пунктов здесь не было и в помине. Одно это ввергало в сомнения. Но уголок всё же привлекал своей отдаленностью от шоссе-ных трасс, своим как бы откровенным безразличием к стереотипным меркам, за которые непременно цепляются горожане, стоит им очутиться в незнакомой сельской местности.

Впечатлял и участок, прилегающий к дому. В самом низу ограда выходила к полям. С одной стороны, левее и к западу, низменность переходила в разлинованные посадки искусственных шпалер, разводимых местным зеленщиком, а правее луг взбегал на подножия невысоких холмов, покрытых лесной чащей. Туда же, к лесу, выводила и укрытая от постороннего глаза подъездная аллея, пересекавшая весь этот обособившийся от внешнего мира островок усадеб.

Объявленная хозяевами цена значительно превышала черту, которую Вертягин изначально установил для себя, чтобы вести переговоры о покупке: за дом просили миллион двести тысяч франков. К тому же дом не отвечал «исходным» параметрам, которые Петр тоже четко вывел для себя с самого начала. Если уж покупать жилье за городом, то непременно просторное и светлое, говорил он себе. При осмотре дом показался ему немного тесным и даже несколько темным внутри – оконные проемы были слишком узкими.

Требовался капитальный ремонт. Запущен был и двор, и хозяйственные постройки. Со всеми перестройками, которые ему казались неизбежными, такой ремонт мог обойтись в триста – триста пятьдесят тысяч франков – и это по самым скромным оценкам. Таких средств

он не имел. В течение года или двух невозможно было бы и помышлять о подобных вложениях. Пришлось бы влезть в долги. И тем не менее было над чем призадуматься...

Каким образом ему удалось втереться хозяевам в доверие с первой же минуты, Петр и сам не понимал. Принадлежал дом пожилой супружеской паре, людям еще недавно городским, небогатым и простодушным. Невысокого роста, ссохшийся старичок, расхаживающий в вельветовых штанах, подозрительностью своих крохотных мелких глаз выдававший незаурядную сельскую смекалистость, принялся тут же рассказывать гостю всю свою жизнь. Многие годы он работал в столице каменщиком (примечательно то, что фамилия пары была Массон). Выйдя на пенсию, досуг свой они с женой посвящали цветоводству, а также разведению кроликов; из обыкновенного хобби это увлечение даже превратилось в настоящую статью доходов. Продавать дом им вовсе не хотелось. Но они больше не справлялись с хозяйством, не хватало сил. Как следует поразмыслив, взвесив все «за» и «против», они наконец пришли к выводу, что им пора возвращаться в Финистер, откуда оба были родом. Если, конечно, подвернется приличный покупатель и дом с хозяйством удастся передать в надежные руки...

На вторую встречу с хозяевами, в следующие выходные, Петр взял с собой Марту. Он сразу же почувствовал, что хозяину пришелся не по душе тот факт, что его половина не французка. Для старика Массона дело принимало какой-то неожиданный поворот: в душу человека, состарившегося вдали от поветрий времени, и какого ни есть, но всё же патриота, заселение иностранцами всех лучших уголков его родины явно не вселяло ничего хорошего. Но предубеждение старика вроде бы рассеялось, когда всей делегацией они отправились посмотреть на кроликов и когда Марта, присев на корточки перед вольером, принялась шушукаться с трусливыми зверьками, восторженно подсовывая им травку, предложенную хозяином морковку, играя с его питомцами, как ребенок. На лице у старика Массона заиграла благодарная улыбка.

Хозяева накрыли на улице стол, застелили его клеенкой с изображением персиков, где и стали потчевать гостей янтарного цвета приторным вином из Шаранта. Старик покупал вино в бочонках и сам разливал по бутылкам. После этой церемонии хозяин вынул из нагрудного кармана изящный бархатный футляр с очками, насадил их на нос и опять повел гостей на участок, намереваясь показать другую часть хозяйства – розарий, вызвавший у Петра наибольший интерес.

Возможно, именно розарий, по-настоящему ухоженный, а также допотопный рычажный станок для закупорки вин, который хозяин показал гостям в подвальчике, и склонили Петра к окончательному решению.

Заодно с домом обзавестись еще и розарием? Это превосходило все ожидания. Вертягин-старший слыл заядлым садоводом. Мать, жившая в доме с садом, тоже разводила цветы. Вертягин-младший дышал этой атмосферой с детства. И вот сегодня, оказавшись перед реальной возможностью последовать примеру родителей, Петр осознал, что садовничество тоже сидит у него в крови. В этом неожиданном стечении обстоятельств Вертягину мерещилось какое-то счастливое знамение. А ко всему старик Массон, хотя никто и не тянул его за язык, предложил снизить цену – «для круглого счета». Вместо первоначальных миллиона двухсот тысяч франков он просил теперь лишь миллион, круглым счетом...

Сохранились кое-какие записи, сделанные Петром Вертягиным сразу же после переселения в Гарн. Они представляют собой интерес не более чем иллюстративный, но некоторые из них автору этих строк привести не терпится.

3 мая

Какие дни! Какая убийственная погода! Мы действительно не прогадали. Солнце парит с раннего утра. Нет сил ни встать, ни даже тронуться с места. Я и просиживаю дни напро-

лет в шезлонге. Марта бродит по саду в намоченной майке. Прикладывает ладошку ко лбу, вопросительно взглядывается в поднебесье. Как только мы смотрим друг на друга, она начинает счастливо таять, каждый раз находя в моей мине какой-то удовлетворяющий ее ответ. На все вопросы сразу.

Подобное недоразумение происходит постоянно. Окружающим кажется, что мне известно что-то такое про этот мир, что неизвестно им самим. Это вызвано выражением какой-то неосознанной самоуверенности, говорят, оно написано у меня на лбу. Может быть, даже – нахальства, отчего я не смог избавиться с юности. Ну а затем, поскольку мне никого не хочется разочаровывать в себе, тем более из-за всякой ерунды, я готов потакать любому заблуждению на свой счет. Готов делать вид, что действительно способен повелевать стихиями, что мне море по колено. Хотя в действительности... Господи, иногда чувствую себя настолько бессильным перед элементарно простыми вещами, для большинства людей совершенно обыденными и не представляющими ни малейших трудностей.

Не унывать. Вот святое правило! Отпечаток нахальства на физиономии – это признак неосознанного уныния или больших внутренних слабостей. А посему – знать всё это в шею.

Вечера провожу внизу в своей каморке. Разглядываю сад. Вид меня всасывает. Я делаю вид, что занят бумагами. Марта нашла у меня в книгах томик Г. Д. Тороу. Зачитывается им. Она весь вечер прохлаждается, не встает с дивана. Его идеи «гражданского неповиновения» и «добровольной бедности» мы обсудили вчера до двух ночи.

Планы у нас наполеоновские. В доме сделать нужно следующее:

1. Ремонт и перекраска стен (со съемом старых обоев и отделкой – работы дней на 15) влетит, думаю, тысяч в десять.

Ремонт, покраска шпаклевка (со съемом) – 15 тыс.

2. В ванной заменить само корыто. Влетит в 1000 фр. Установить новые смесители и т. д. – еще 900 фр. Слесарю за установку кранов – 600 фр. Для переоблицовки стен в ванной понадобится 12 м² белой плитки с лазурным отливом:

(площадь × цена) + (площадь × почасовая плата за кладку) = (12 м² × 95 фр. за м²) + (12 м² × 100 фр. за час кладки) = 1140 + 1200 = 2340.

Замена корыта – 1000

Краны с установкой – 1500

Белая плитка, лазурн. отлив (см. расчет) – 2340

Расходы на слесаря – 600

3. Обновление санузла:

унитаз + установка + раковина + смесители + установка = 850 + 300 + 1750 + 850 + 300 = 4050.

Весь санузел – 4050

На кухне: раковина и смесители + установка = 1590 + 300 = 1890.

Расширить оба окна в гостиной. Разбивать ригеля? Нет, лучше оставить. Два дня работы + два оконных блока = 3000 + (1950 × 2) = 6900.

Расширение проема окна в моем кабинете: день работы + оконный блок = 1500 + 2800 = 4300.

7. Замена прогнившей рамы в спальне: рама + полдня работы = 1850 + 1500 = 3350.

Убрать перегородку между спальнями: два дня работы, с заделкой – 3000.

Отопительный котел на мазуте: сам котел + новые радиаторы + топливный бак с автоматикой = 40 000.

10. Освободить каморку под чердаком и установить наверху душ: кабина + установка = 2390 + 600 = 2990.

11. Засыпать дорожки гравием хотя бы вокруг розария: 3 тонны гравия + доставка = (3 × 350) + 300 = 1350.

12. Посадить тую вдоль левой ограды, чтобы загородить от глаз просвет в 10 метров, с плотностью по два саженца на метр: (цена саженца $\times 2 \times 10$ м.) + удобрения = $(60 \times 2 \times 10) + 200 = 1400$.

13. Вывести к беседке кран для полива: трубы, медные муфты, тройники и переходники + 2 дня работы = $800 + (2 \times 300) = 1400$.

14. Для хозяйства купить немедленно: шланг на катушке + штуцеры для подсоединения + два секатора + спец. ножницы для ухода за туей + грабли + лопата штыковая + лопата совковая + мотыга для дренажа + фосфорные удобрения + клубни цветов + земля + газонокосилка = $490 + 2000 + (2 \times 175) + 238 + 80 + 80 + 80 + 245 + 500 + 300 + 1000 + 3\ 000 = 8363$.

Итого: 96 333 франка.

И это только на первое время! Прорва...

Сократить смету. Непонятно, где брать время. Да и деньги. Хм!

6 мая

Обнаружил, что из окошка в ванной комнате просматривается двор соседей, тех, что живут через дорогу. Можно запросто наблюдать за происходящим у них в гостиной, во дворе и даже выше, в спальне...

Вчера утром впервые встретил их на улице. По виду горожане. Он – с кудрявой бородкой, с пестренькими наивными глазами. На лице – какой-то сумбур и такое выражение, как будто с него пытались стереть что-то прилипшее, долго и тщательно терли, но только еще больше размазали. Она... Но это нужно было видеть. Я возвращался из булочной, шагал мимо их ограды и вдруг в просвете зарослей – странное зрелище. Посреди газона стоит молодая самка. В одном бикини, вцепившись в грабли, согнувшись в три погибели, вся в мыле, лоснящаяся, как молодая запаренная кобыла... В этом плотском натурализме, или даже безобразии, которое в женщине, стоит заставить ее врасплох, иной раз поражает, было что-то приковывающее взгляд. Я не мог оторвать глаз.

Я поздоровался. Она подскочила как ужаленная, выронила грабли...

Сегодня получилось еще глупее. Я уже сел за руль, как вдруг заметил ее с мужем перед воротами дома. Подогнав поближе свой бургерский «ситроен», они пытались вытащить из багажника огромную газонокосилку. На вид – килограммов двести. Вот-вот останутся без ног. Я ринулся на помощь. Подойдя, так и ахнул. На этот раз соседка была не то чтобы в бикини, а в чем-то нательном, и в то же время в бальных, золоченых туфлях на шпильках. И этот загар... Я вдруг понял, почему был так поражен ее видом, когда увидел ее в первый раз. У нее загар мумии. В начале мая!

Постояли, посмотрели друг на друга и решили, что пора знакомиться. Мишель и Жеппу Сильвестр... Они неловко расшаркиваются. В глазах – жажда общения, как у многих бездетных пар. Газонокосилку они приобрели в складчину с другим семейством, которое живет от меня через дом. Их рыжая дегенеративная шавка чуть не изодрала мне брюки.

Погода действительно как на заказ. Нет сил чем-либо заниматься. Читаю газеты, ловлю галок в небе, перебираю книги, но как только вчитываюсь во что-нибудь, замечаю, что сижу над одной и той же страницей. В голове пусто. Здесь всё воспринимается как-то механически, в обход извилин.

Никогда не думал, что под Парижем могут быть такие облака. Плывут будто заснеженные горы. Да так низко, что кажется, проутюжат лес. А небо синее, бездонное, укачивающее, как океан.

Как мало нужно, чтобы взгляд распахнулся для этого простого созерцательного наслаждения. И как оно очищает! И всё же я отвык от такого времяпровождения. Опустошает. Пора принимать меры...

19 мая

Погода пошла на спад. С утра опять как развезло. С леса ползут клубы тумана. День – хоть глаз выколи. Рано радовался.

Другую парочку, которая живет от нас слева, через участок, всё еще не встречал. Муж, по слухам, архитектор. Почетный гражданин округи. И если не ошибаюсь – с замашками. Перед их воротами сгружают голубую плитку. Они собираются отделять ею бассейн. У них есть дочь, но уже слышал, что приемная. По вечерам на пару с подружкой девочка разглядывает мое сиятельство в беленький театральный бинокль, прячась за кустами, которыми обнесен их участок. Я строю им розжи. Они в панике исчезают. Затем опять появляются, опять с биноклем, но уже в другом месте.

Очень жаль, что наши участки внизу смыкаются. Им удалось, как я слышал, откупить землю у пенсионеров, хозяйство которых отделяет наши дома сверху. Придется и мне отгораживаться кустами...

Вчера вечером произошло следующее: сижу в гостиной и вдруг слышу у себя в коридоре шарканье ног. Кто-то вошел и проходит без спроса внутрь! Я вскакиваю, вылетаю навстречу. Передо мной средних лет дамочка с рыжей как факел прической.

«Простите за вторжение, – изрекает она басом. – Я не могла достучаться, а дверь открыта... – После чего гостья заявляет: – Мадам Массон мне сказала, что вы разбираетесь. У меня что-то камин коптит».

Обомлев, я топчусь как истукан посреди комнаты, преграждая ей дорогу:

«В каминах?! Мадам Массон напутала», – изрекаю я недоуменно.

«Наши архитектор, – гостья тычет перстнем в сторону, – через дом, знаете? Он в отъезде...»

На лице – отчаяние. В глазах, поразительно правильных, плаксивых, – непонятная насмешливость. У меня было чувство, что она меня разыгрывает.

«Проходите...» – мямлю я, верх галантности.

«У вас... вы меня простите... ширинка расстегнута...» – заявляет она.

Опускаю глаза – действительно! Взял и застегнул. Но едва не провалился сквозь землю.

Через минуту мы всё же отправились к ней. Она живет чуть выше. Двор завален всякой ветошью. Домина не ахти: белый, накромсанный, как бисквит, на ровные порции. Входим – и пожалуйте! Пять или шесть здоровенных детей сидят в салоне на двух диванах. Все в джинсах. Двое с головы до ног в кожаных доспехах, похожи на уличных мотоциклистов. Все посасывают какие-то самокрутки. Несет марихуаной.

Самого тощего, с торчащими как у пугала плечами, мадам представляет мне как своего мужа. Кто-то вставляет мне в кулак пузырек с пивом и запускает в высокий, прекрасно отделанный камин зажженную газету. Дым, с ошметками пепла, выносит в комнату.

Вышли осматривать дымоход снаружи. На мой взгляд, он просто кривой изнутри, и нет ничего удивительного в том, что при снижении атмосферного давления дым выбивается в комнату. Что я и объявляю во всеуслышание.

«Раньше разве не дымило?» – спрашиваю я.

«Что вы! Эта история тянется уже лет десять!» – отвечает хозяйка.

Весь целомудрие, стараясь не обижаться, я советую переделать камин, понизить верхнюю часть. Общество тарачится на меня с изумлением. Муж начинает скулить что-то о каррарском мраморе, который жалко, дескать, залепить кирпичами. Я объясняю ему, что опустить нужно лишь свод камина – дымоход, а не сам камин, не в комнате...

И только потом, когда я вернулся к себе, до меня дошло, что я побывал в гостях у той самой знаменитой актрисы из «Французской комедии», о которой мне прожужжала все уши хозяйка соседнего кафе, местная сплетница...

На одной из оград сверху, перед лесом, появилась новая табличка о продаже. Не дом, а чудо! Участок гектара в два. Проморгал! Эх...

26 мая

Всю неделю сбивался с ног в поисках садовника. День назад случайно заговорил на эту тему с Сильвестром, соседом, и он порекомендовал мне своего бывшего.

На их участке работ мало, лишь стрижка газонов. На меня они смотрят с ревностью и испугом. Уверены, что садовый пыл во мне иссякнет. Так наверное было когда-то с ними. Уже во второй раз приходится отклонять их приглашение оприходовать по стаканчику аперитива у них за домом, там, где они устроили что-то вроде салона под открытым небом. Вечерами они занимаются там исполнением своих супружеских обязанностей, умудряются это делать прямо на шезлонге. Эта часть их двора просматривается из окна верхней спальни. Зрелище довольно впечатляющее. Как люди похожи иногда на животных!

Сегодня утром появился садовник Сильвестра. Разбудил в семь утра. Выхожу – перед воротами не старик, а старец. Пристальные, слезливые глаза с какими-то ненормальными фиолетовыми зрачками. Лицо цвета прошлогодней картошки. Смотрит на меня если не волком, то свысока. Зовут деда Модестом. Фамилия – Далл'О. Я повел его в розарий. Дед стал меня уверять, что за таким цветником нужен, мол, уход да уход. Браться за работу не хотел, ни в какую. Пришлось уговаривать. В конце концов скрепя сердце соглашается, но ставит условие, что будет приходить в шесть утра...

Марта успела перезнакомиться со всем поселком. После обеда ходит к соседям чаевничать, плескаться в бассейне, обменивается с ними кулинарными рецептами и не перестает одалживать без спроса мои инструменты. Те уже не чают в ней души. Марта упрекает меня в высокомерии, считает, что мое упрямое нежелание уделить час свободного времени «приятным и простым» людям – разновидность жадности. Сильвестр, по ее сведениям, работает в центре каких-то атомных разработок, что неподалеку отсюда. Занимается отходами, которые японцы сплавляют им со своих берегов. Жена торгует недвижимостью. На пару с подругой держит в городе контору. Сын актриски – наркоман. Муж, которого я видел, ее бросил. Или она его. Они на грани развода. Архитекторова чета держит себя сдержанно. На днях их пудель утонул в бассейне...

Еще недавно мне казалось, что жизнь живущих в собственном доме должна быть какой-то особой, не похожей на жизнь других. Увы, всё то же самое. Просто чаще чувствуешь себя в шкуре человека, прибывшего на конечную станцию и выгрузившегося со всем багажом, которого никто не приехал встречать. Что дальше делать – вот вопрос. Всё начинать сначала?..

Оставшуюся часть наследства Вертягин-старший переоформил на сына в марте. В гарнский дом тот переехал в апреле. В июне состоялось вышеописанное загородное новоселье, идея которого принадлежала, опять же, Вертягину-старшему, решившему, что не представится более подходящего случая, чтобы хоть раз за годы увидеть родственников всех вместе, а заодно и столичных знакомых, с которыми после переселения в Прованс отношения неизбежно увядали. Встреча эта, не только со старыми знакомыми, но и с сыном, стала для Вертягина-старшего последней...

Когда в конце года, поздним декабрьским вечером в Гарн позвонила мать – родители развелись годы назад, и мать звонила ему редко, – до Петра не сразу дошло, в чем дело.

– Папы больше нет, – сказала чужим голосом мать. – Крепись, мой мальчик...

Первое, о чем Петр подумал, – это непреложность самого известия. Можно ли ставить такие новости под сомнение? А затем он почувствовал стыд: почему столько праздного в голове в такую минуту?

С недоуменной, да и безвольной миной он продолжал глазеть в окно, в сгущающийся снегопад. Зимняя пустота только теперь вдруг обрела реальные контуры, стала ощутима физически. Из нее тянуло чем-то ледяным, пронизывающим. А из-под ног тем временем что-то мягко уплывало. Какой-то внутренний барьер мешал вдруг сделать над собой последнее усилие.

– Когда это случилось? – спросил Петр.

– Только что... Поезжай, милый. Я постараюсь приехать утром.

– Ты в Париже?

– Да нет, почему... Я дома, в Джерси! – В голос матери закралось удивление, не то упрек. – Всё как миг. Никогда не смогу поверить..., – добавила она тем же чужим голосом. – Никогда. Ты слышишь меня?..

Было около двух часов ночи, когда Марта, раздавив в пепельнице последнюю сигарету, отправилась спать. Петр пообещал подняться следом. Ему хотелось с вечера приготовить в поездку вещи, чтобы не заниматься сборами с утра. Оставшись в кабинете один, он мерил его шагами и не мог сосредоточиться, не мог найти нужные документы, паспорт. В конце концов, завалившись в кресло у окна, он курил сигарету за сигаретой, смотрел в сад, впиваясь глазами в белизну снегопада. Здесь же, в кресле, он и уснул...

Ему приснились мать и отец. Кроме родителей, рядом мельтешил еще кто-то четвертый. И это четвертое лицо, неузнаваемое, казалось Петру очень близким – ближе, чем родители. Проснувшись, он не мог вспомнить, кто это был. Но одна из картин врезалась в память до мельчайших подробностей, и она неотвязно стояла перед глазами даже утром.

«Всё это – жизнь...» – Отец обводил рукой голое пространство вокруг себя, распахивающееся во все стороны, искромсанное полями и сплошь покрытое бурной цветущей растительностью.

Над горизонтом высилась гряда гор. Эти синеющие массивы сливались с облаками исполинских размеров, которые неестественно быстро, словно клубы пара и дыма, вырывающиеся из-под колес паровоза, как в старых фильмах, раскатывались в стороны и растворялись в голубизне небосвода.

«Вход вон там, видишь? – сказал отец. – Ты слышишь меня, Петр?»

Отец показывал рукой влево, в темную впадину, вдруг различимую на самом краю рельефа, туда, где минуту назад местность тонула в ослепительном солнечном зареве, а теперь погрузилась в настолько плотный мрак, что глаза больше не могли различать деталей.

«Выхода нет, – добавил отец и твердо кивнул головой. – Кто первый найдет его – тот и выиграл...»

– Воистину суета всяческая, житие же сень и соние, ибо все мятется всяк земнородный... – бубнила невысокая молодая монахиня в черном облачении, стоявшая спиной ко входу.

Добравшись в Ля-Гард-Френэ около часу дня, Петр с Мартой вошли в дом, где их сразу проводили к гробу. Лица вокруг были незнакомые.

– Тогда во гроб вселимся, идеже вкупе царие и нищии. Тем же Христе Боже, преставльшиися упокой, яко человеколюбец... Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь...

Поражала не только русская речь, не ее вечный и немного ускользающий от понимания смысл. Слух быстро проникался звучанием слов и уже через минуту не улавливал чужеродных нот, которые чем-то саднили в первую минуту. Поражала не атмосфера, царившая в доме, не осторожное и враждебное шарканье чьих-то ног, раздававшееся за спиной, а то, что кто-то чужой хозяйничает в комнате отца, ни на кого не обращая внимания, словно имел на эту комнату и на ее бывшего обитателя какие-то свои права, никому до сего дня не предъявленные.

Молодое, немного пресное лицо девушки-монахини выглядело очень русским. Как она сюда попала? Кто успел организовать всё за утро? Почему читают Псалтырь?.. Из-под края чер-

ного наряда монахини выглядывали носки светских дамских туфель, что придавало ее силуэту что-то непрофессиональное, случайное и в то же время трогательное, как казалось Петру. Опять праздные мысли! Аналогичное впечатление производил и приглушенный, казавшийся простуженным голос читавшей.

Гроб стоял в отцовской гостиной. Гробовое изножье, обложенное пальмовыми ветвями, тонуло в полумраке. Горько-сладкий кадящий запах, наполнявший комнату, чувствовался во всех комнатах и даже на улице перед входом в дом. Само «тело», возвышающееся над створками узкого гроба – гладкий лик с заостренным носом, впалые щеки, высокий, угловатый лоб, который лоснился больше чем вся безволосая голова, тело «приснопамятного раба Божия», – всё это не вязалось с привычным образом отца. Едва Петр думал о нем, и он видел отца живым. То, что представало глазам здесь, в комнате, казалось оболочкой, какой-то полый емкостью. Таинственный процесс отчуждения, происходивший под этой оболочкой, уже успел наложить на всё отпечаток, но еще не настолько, чтобы удавалось невооруженным глазом уловить превращения, происходившие в материи, и воспринимать их как наглядное подтверждение тому, что каждый смертный знает вроде бы отродясь. Жизнь не могла вместить в себя смерть. Петру казалось, что отца здесь попросту нет...

Утро выдалось ветреное. Ослепительное солнце заливало округу лиловой мутью. Мистраль гулял даже по кладбищу и рвал на собравшихся одежду. Женщинам приходилось придерживать юбки руками, отчего позы у всех были неестественные. И всё же что-то светлое мелькало из-под юбок при каждом новом порыве ветра.

Мать Петра, на пару с тетушкой Надеждой, и родители Мари Брэйзиер, пожилая чета из Тулона, сбились в стайку у могилы. Мать прилетела на похороны с «новым мужем» – так родственники продолжали звать здоровяка Корнелиуса, с которым она жила уже скоро двадцать лет. Чтобы не устроить своим появлением лишнего переполоха, на кладбище Корнелиус не пришел, предпочел переждать в гостинице, но эта чрезмерная тактичность всё же граничила с малодушием.

Остальная родня, все в траурном, с которой покойный близких отношений не поддерживал, держалась в стороне, тесня друг друга при выходе на аллею, где толпились и по давню посторонние, в родстве с Вертягиным не состоявшие, все те, кто посчитал уместным прийти на кладбище, но отводил себе место в последних рядах.

Впереди этой последней группы маячила приземистая, вросшая в землю фигура дряхлого, хромого господина с тяжелыми глазами навывкате – старик Вельмонт, которого Петр не сразу узнал, настолько тот постарел, отставной судья и давний друг покойного по Парижу. Особняком высился силуэт уже пожилого врача Дюпрата; плохо состарившийся, обрюзгший, с пустоватыми глазами многодетного и изнуренного заботами семьянина, он примкнул к компании чужих людей то ли по рассеянности, то ли поскромничав, раз уж никто не признавал его за своего.

Мари Брэйзиер, двоюродная сестра Петра из Тулона и единственная из всех родственников, с кем Петр поддерживал отношения в обычном смысле этого слова, стояла с мужем в промежутке между стайкой родственников, отторгнутых к аллее, и своими родителями. Ладонями придерживая на бедрах юбку черного костюма и выставив кверху коротко стриженный затылок, что придавало ее силуэту что-то обреченное, Мари даже здесь, на кладбище, похоже, собиралась играть свою обычную роль – роль связующего звена между родственниками, не будь которого все они давно перестали бы видеться.

С небывалой остротой ощущая в этот миг всю необычность своих отношений с Мари – в том виде, во что эти отношения вылились после того, как годы назад между ними возникла кратковременная близость, – Петр, как никогда, осознавал всю свою беспомощность. Что он мог изменить? На что он рассчитывал все эти годы? Его охватило еще большее опустошение. Ему вдруг показалось, что даже Арсен, муж Мари, невысокий сорокалетний сибарит в черном

блейзере, с недовольной миной топтавшийся пообок от нее, не мог не сокрушаться о том же. Эгоизм жениной родни – не был ли он возмутительным? А если так, то и он, Арсен, тоже имел все права держаться от этой «родни» подальше. Случись что-нибудь подобное с кем-нибудь из его родственников, и весь этот люд, съехавшийся на похороны Вертягина, отделался бы одними письменными соболезнованиями, а поголовное большинство не нашло бы в нужный момент даже адреса, чтобы исполнить сей тягостный ритуал...

Внимание приковывала к себе еще одна пара. Средних лет стройную особу в шляпке с вуалью поддерживал под локоть сосед отца. Это был художник Жан, местная знаменитость. Ему покойный и продал в свое время половину усадьбы. Сухопарый, в годах, с женским лицом, прозрачностью своих холодных и водянистых глаз распугивающий, как могло показаться, птиц на соседних деревьях, – художник Жан припелся на кладбище в старом рыбацком свитере, в резиновых сапогах и берете. Сам факт, что он мог позволить себе заявиться на похороны соседа столь небрежно одетым, свидетельствовал о его особых отношениях с ним. Но его и вправду связывала с покойным настоящая дружба. Это знали все, отчего резиновые сапоги еще больше приковывали к себе взгляды родственников. Как, впрочем, и присутствие незнакомки, метиски креольского типа, которую художник держал под руку.

Мать мимоходом шепнула Петру на ухо, что это и есть та самая «подруга» отца. Последняя. Учительница из местной школы. Петр, как и все, был наслышан об этой истории, но впервые видел последнюю спутницу отца воочию. И от него не могло ускользнуть, что мать держится с этой женщиной подчеркнуто обходительно, с таким видом, будто чувствует себя ее должницей. Ему казалось странным видеть мать и креолку вместе. Казалось, что они пришли хоронить каждая своего покойника...

После кладбища, когда все вернулись в дом, был накрыт легкий стол. Народ сонно и молчаливо столпился в гостиной. Мари Брэйзиер и Марта, обе бледные, невыспавшиеся, обходили гостей с подносами. Для одних заварили чай. Другие разбирали рюмки с ледяной водкой. Атмосфера кое-как разрядилась. Сдержанный гул бубнящих голосов вскоре заполнил весь дом. Но к часу дня гости стали разъезжаться. Родители Мари приготовили у себя в Тулоне поминальный обед, и большинству предстояло добираться туда своим ходом.

Петр вышел на улицу, чтобы проводить к машине доктора Дюпрата, который не мог поехать со всеми в Тулон. Заодно нужно было распорядиться о проводах девушки-монахини на вокзал – она могла опоздать на поезд. Подойдя к ней, Петр протянул ей конверт с деньгами. И когда та, покорно приняв подавание, отошла к машине Мари, которая взялась подвезти девушку до вокзала, он стал настаивать на том, чтобы Марта тоже ехала в Тулон вместе с Мари. Сам он намеревался приехать позднее на «фольксвагене» отца. Ему хотелось побыть одному. Так он мог спокойно просмотреть бумаги, отложенные для него отцом, чтобы из Тулона они с Мартой могли вернуться напрямик домой, в Ля-Гард-Френэ уже не заезжая...

Последняя машина выехала со двора, и Петр вернулся в опустевший дом. Какое-то время он бродил по комнатам, вдруг спрашивая себя, зачем остался здесь один. Вновь и вновь останавливаясь перед окном, он подолгу разглядывал пестренький сад, почему-то пересчитывал кусты, те из них, на которых виднелись остатки цветения.

Слева участок смыкался с ельником, а правее, открытый настежь, без изгороди, сад взбегал к холмам. Минуту назад залитые солнцем бугры затянулись серою дымкой. А затем, не прошло и четверти часа, ветер понес в окна морось. Дождь перешел в настоящий ливень. В комнатах стоял шум. Ливень бил в окна, и было такое чувство, что кто-то тычет в стекла метлами.

Обнаружив в кухонном шкафчике бутылку коньяку, Петр нацедил себе большую рюмку, с удовольствием осушил ее, оседлал стул перед окном и, глядя в дождевую муть, машинально перебирал в уме сказанное матерью на прощанье. В Тулон она, разумеется, не поехала. Там собирался совсем не ее круг.

– Всё, что папа оставил, нужно оформить на тебя. Я всё подписала. В Париж не поеду. Жду тебя в Джерси. Приезжай, когда хочешь... Дом для тебя всегда открыт, ты же знаешь...

Когда он успел наобещать приехать в Джерси? Когда она успела что-то подписать? Что именно? Что отец мог ему оставить? Ведь он давно всё раздал...

В последний раз Петр приезжал в Ля-Гард-Френэ больше трех лет назад. И даже если он знал, что отец стал жить скромно, затянув ремень не из-за нужды, а потому что так однажды решил – под старость лет с одержимостью, какая встречается только у стариков, взявшись за воплощение своих давних принципов, которые не удалось реализовать за всю жизнь, – Петр был всё же поражен бедностью обстановки, в которой отец закончил свои дни.

«Самоограничение» отца превосходило его худшие опасения. Воздержание обернулось нездоровым аскетизмом. В доме почти не осталось мебели. Скрипучие стулья. На весь дом – два стола, один на кухне, другой в кабинете. Кожаный диван, купленный тому лет двадцать, Петр помнил еще новым. Промятый и в дырах, диван, как и четверть века назад, издавал до странности знакомый, родной запах кожи. В спальне осталась лишь узкая деревянная кровать и тумбочка. Стены – беленые, голые будто в келье. Куда подевалось всё остальное? Мебель, картины, книги? А впрочем, стоило ли удивляться? Отец давно пытался отдать ему все ценные вещи. И зря он отказывался. Боязнь вещей? Бегство от материального мира?.. С годами всё это вылилось в настоящую болезнь. Но как она называется?

Жилым уголком, в котором были заметны хоть какие-то следы реально жившего здесь человека, выглядел разве что кабинет – крохотная комнатка с окном на дорогу и на задворки соседей. Над столом висела двустволка с вертикальными стволами итальянской марки «franchi». Тут же – крохотная гуашь Брака под стеклом, подлинник. Рядом – фотопортрет деда Александра Ивановича в форме штабс-капитана времен крымской эвакуации, которого Петр больше помнил по последней встрече, произошедшей, когда ему было десять лет, в Англии, где он провел некогда три года в интернате. На другой стене висело уже несколько снимков бабушки Анастасии, пережившей деда на тридцать лет. В саду Тюильри. В своей мастерской под Биаррицем, где она, профессиональный скульптор-анималист, занималась лепкой домашних животных, кошек, собак, коров, лошадей. На других мелких снимках, собранных в одной рамке, бабушка несчастно морщилась от солнца и была уже совсем старенькой, неузнаваемой под полями соломенной шляпы, похожей на всех очень стареньких бабушек. Эти снимки были сделаны уже под Шамони, где она провела последние годы, не покидая санатория для туберкулезных больных. Там он и видел ее, уже напоследок, однажды поехав ее проведать вместе с отцом. Сверху, с опустошенного книжного шкафа, скалился квадратный лев работы бабушки – литье из бронзы. Он, будто сфинкс, сторожил вход в невидимый мир воспоминаний.

Всё это принадлежало другой эпохе, давно канувшей в Лету. И она очень мало имела общего с сегодняшним днем. Было ли в нем самом хоть что-то от этой эпохи? Положа руку на сердце он считал – что нет. Черты лица? Угловатость скул? Посадка глаз, чем-то напоминавших глаза деда и выражавших всегда нечто непонятное – смесь задумчивой созерцательности и горделивой иронии, что придавало всему облику что-то нарочито монументальное и было свойственно всем Вертягиным, в том или ином возрасте? Поставь рядом два человека, сравни их – и увидишь то же самое сходство.

Эти два мира – настоящий, о котором напоминал стук дождя по стеклам, и канувший, унесенный отцом в могилу – отличало что-то несоразмерное. Петр не мог перебороть в себе чувства, что мир, в котором он живет сегодня, в чем-то деградировал по сравнению с миром родителей. А о том, в котором жили их родители, бабушка и дедушка, и говорить не приходилось. Но может быть, это и есть вырождение? Что мог думать отец о его жизни последних лет? Считал его жизнь пустой, несостоятельной? Но и сам он недавно смотрел на всё совсем по-другому. Безбедное, холостяцкое существование, респектабельная, но не мещанская про-

фессия, благодаря которой перед ним открывались все двери... – выбор и никаких лишений. Можно ли желать чего-то еще?

Сегодня всё это казалось пустым, мнимым. И выбор, и благополучие. От прежних запросов, от прежних иллюзий не осталось камня на камне. В чем же тогда не прав отец?

Да, бесспорно, он был вырожденцем. И именно поэтому обладал живучестью и способностью приспособливаться, которая обычно свойственна гибридам. Вместе с тем Петр ощущал свою породу. Возможно, поэтому он никогда и ни в чем не испытывал полного удовлетворения и нигде не чувствовал себя как дома. Поэтому и слонялся по миру, пока был молод? Пока еще строил себе иллюзии, что нужную смесь, в нужной консистенции – смесь самого смысла и того, что смысла иметь не может... – можно обрести простым смешиванием ингредиентов, таким взбалтыванием.

Иногда Петру казалось, что он неправильно расставляет акценты. Разве все эти опасения, догадки на свой счет и страхи не были ничтожными по сравнению с тем, что любому человеку предстоит реально пережить на своем веку? Жизнь задавалась куда большими величинами, совсем другого порядка. Родословная – это ли не последнее прибежище? Разве не здесь сбиваются в кучку люди беспомощные, слабые и чаще всего лишенные настоящих корней?.. Но в этом вопросе хотелось определиться окончательно. И иногда это нет-нет да удавалось. Иногда в душе сладко немело от прозрения...

Это чувство охватывало его каждый божий раз, когда над летним полем розовел закат, когда чей-нибудь чужой пес лизал ему руку, когда попадались хорошие книги, написанные на языке, которого он не учил или говорил на нем плохо, когда он встречал женщин одной с ним породы, не обращавших на него внимания, когда к нему без всякой видимой причины, но с боязнью относились дети, когда на улицах чужого города пахло знакомой вкусной едой, когда из бутона еще не распустившейся розы начинал сочиться запах прошлого, материнской доброты, забытого первого греха, а из стакана виски неожиданно пахивало надушенным мужчиной, из бокала шампанского – снегом, из чашки остывшего кофе – старой кошкой, похороненной под кустами, когда он был еще ребенком, в лесу же пахло могилами родственников, от скошенной травы – потом, а от собственной жизни – чем-то тлеющим или уже горелым, ну и так далее...

Мир был безмерным именно в своем единообразии. Единообразие являлось одной из его главных ипостасей. Жизнь же была непрерывным сворачиванием в бесконечность. Бесконечность, начинавшаяся из ничего, может, как известно, уместиться на острие иголки. А поэтому что могло быть важнее, чем сам процесс, чем единичное в целом? И отнюдь не причинность! Она лишь приводила к путанице. Но как это всегда и происходит с простыми самоочевидными истинами, это еще требовалось доказать. В то время как доказать такие вещи, разумеется, невозможно...

К Брэйзиерам в Тулон Петр так и не поехал. На телефонные звонки решил не отвечать, хотя и понимал, что звонят из Тулона. Марта, да и Брэйзиеры конечно же волновались, не понимали, куда он пропал.

Он принес в кабинет отца коробки со старыми бумагами, которые решил увезти с собой в этот же раз, чтобы разобрать их дома, поскольку бумаг было слишком много. Петр распаковал первую коробку, самую увесистую, и принялся выкладывать содержимое на стол.

Набитые фотографиями канцелярские папки, конверты, свертки, прозрачные целлофановые чехольчики со всякой чепухой. В почтовом конверте с непогашенной английской маркой лежала коробка из-под цветочной соли из Геранды, а в ней два кожаных детских башмачка из бордовой кожи, на одном из которых красовалась наклейка с надписью по-английски: «Пете три года». В другой коробке была припрятана стопка писем матери тридцатилетней давности, с адресами материной сестры, жившей в Англии, в Веллингтоне, неподалеку от которого, близ

Бристоля, его и определили когда-то в интернат – ничего хорошего в памяти не оставивший. Здесь же попала и пачка писем отцу.

Наугад открыв один из конвертов, Петр пробежал глазами по строкам и был озадачен тем, что не узнавал по написанному собственную мать. Она писала отцу по-французски:

«Дорогой Николая! Мне стыдно перед тобой за случившееся перед отъездом. Не сердись на меня! Я была не в своем уме! Господи, здесь в Лондоне на всё смотришь новыми глазами. Наши дразги кажутся вдруг такими ничтожными. Они недостойны наших отношений.

Не успела приехать, а уже изнемогаю от скуки. Больше не могу избавиться от чувства смертельной тоски, которая преследует меня каждый раз, когда я попадаю сюда. Ты прав, Англия для меня – дело прошлого. Она закончилась для меня навсегда.

Рассказывать не о чем. На выходные мы забрали Петю в Лондон. Папа не хотел его отпускать, но я настояла. Мы остановились у К. – ты помнишь их. Вчера вечером сестра вошла к Пете, хотела его перед сном поцеловать и застала его за рукоблудием. Можешь себе представить ее реакцию! Она же немножко старая дева. Одним словом, она его отругала. И на следующий день он глаз не отрывал от пола, ходил как убитый.

Как на это реагировать? Мне кажется, что лучше вообще не обращать внимания. В моей семье мальчишек били за это по рукам, считалось, что это вредно. Но ведь это глупо. Как ребенок может расти здоровым с такими дикими комплексами, или с чувством вины за то, что он перестает быть ребенком и испытывает здоровые физические импульсы? Не виноват же он в том, что с ним это происходит! Мне бы хотелось знать твое мнение, ведь ты мужчина и прошел через это. Напиши мне.

В Лондоне ты меня уже не встретишь. Послезавтра мы будем в Веллингтоне. Как мне не терпится отсюда уехать!

Береги себя! Нежно любящая тебя Вероника В.

Р. С. Еще два слова. Я уже в Веллингтоне. Не успела перед отъездом опустить в ящик это письмо, как Петя разболелся. Даже не знаем, что с ним произошло. Вчера на нашей улице полиция вылавливала бешеную дворняжку: собаку пришлось застрелить, на глазах у собравшихся зевак. Мы с Петей тоже наблюдали за этой беготней из толпы, и он вдруг впал в настоящую истерику. А когда вернулись в дом, у него начался жар, со вчерашнего дня он в постели. Врач объясняет это его впечатлительностью, советует показать его психологу. Но не волнуйся, ничего страшного. Он просто бредит, бормочет что-то про футбол (я тебе не говорила, но он почти каждый день гоняет с мальчишками мяч): «Не хочу стоять на воротах!» Бедняжка! У него головка идет кругом от английского. Но думаю, что всё же привыкнет, ведь он уже вовсю щебечет по-английски. Ты не поверишь, но я вынуждена констатировать, что у него огромный словарный запас. Наверное, от меня. Он просто отказывался раньше говорить по-английски. Правда, и сейчас он предпочитает повторять одни цифры. Не понимаю, чем это вызвано, но он обожает произносить по-английски цифры... Станет математиком?»

День уже клонился к закату и над садом быстро темнело, когда в дверь кто-то позвонил.

Петр пошел открыть. На порог стоял Жан, сосед. Извинившись «за вторжение», художник виновато ткнул рукавом в сторону потемневшего ельника и сказал, что только что говорил по телефону с Мари Брэйзиер. Она попросила его сходить узнать, есть ли кто дома. Телефон не отвечает, и Брэйзиеры беспокоились за него.

Петр пригласил гостя в дом. Сосед молча прошел за ним в кабинет, минуя гостиную, и они оказались сидящими друг перед другом на стульях. Задумчиво встретившись глазами, оба продолжали молчать.

– Хотите чего-нибудь?.. Выпить.

– А что у вас есть?

– Коньяк тут был где-то...

Художник безвольно кивнул.

– Да, у вашего отца всегда был коньяк, – проронил он. – Сам он его не пил...

Петр принес бутылку. Наполнил две пузатые рюмки. Оба продолжали сидеть молча, не притрагиваясь к коньяку и почему-то глядя в чернеющий сад, а затем в опустевшую, распахнутую гостиную, которая как что-то самое емкое и вместительное во всём доме стала быстро наливаясь синим полумраком.

– Я был привязан к вашему отцу, – нарушил сосед молчание. – Чудный человек.

Петр изрек что-то невнятно одобрителное, ни да ни нет. Сосед вынул из кармана парусиновой куртки деревянный ящичек с крохотными сигарами и, открыв крышку, протянул их Петру. Петр отрицательно покачал головой.

– Отчаяние – это грех, – сказал сосед. – Ваш отец мне говорил как-то, что устал... Может показаться странным такое утверждение. Как можно устать от жизни? Все сразу думают: смотря от какой! А я понимаю... Смотри что ждешь с той стороны. Так что не унывайте. Всё так, как должно быть... Дом будете продавать или себе оставите?

– Не знаю.

– Если хотите, можете спать у меня сегодня. В вашей бывшей спальне. Ваш отец мне показывал, где была когда-то ваша комната.

Петр вскинул недоуменный взгляд и осевшим голосом проговорил:

– Я хотел... я хотел здесь кое-что разобрать. Спасибо, я останусь здесь.

Отец Петра Вертягина, Вертягин-старший, родился с русским именем и фамилией, Николай Вертягин. Но это не помешало ему большую часть жизни проходить с именем «Николя» и с фамилией «Крафт». Последняя фамилия досталась ему от отчима Крафта, немецкого подданного с русской жилкой, за которого Анастасия Вертягина, его мать, вышла замуж накануне войны, после того как потеряла первого, русского мужа.

Мать Петра, Вероника, урожденная Вероника Роуз, успела побывать за свою жизнь Вероникой Крафт, Верой Вертягин (несклоняемая форма), а еще позднее стала Гертрудой Шейн – этим псевдонимом она стала подписывать свои книги.

Сам Петр, Вертягин-младший, носил имя Питер, хотя при крещении – русская бабушка вовремя настояла на том, чтобы внука крестили в родном русском храме – получил крестное имя Петр. Во Франции имя «Питер» чаще всего преобразовывали в «Пьер». Что не помешало ему из Петра Вертягина однажды превратиться в Питера Роуза. А еще позднее он стал Питером Крафтом и в этом звании проходил до той поры, пока судьбе, обычно сторонящейся золотой середины, не было угодно разжаловать его в Питера Вертягина, – но и в этом сочетании проглядывало что-то гибридное, как считал он сам.

Отец Петра был чистокровным русским, хотя родился в Женеве, куда его мать, бабушка Петра, Анастасия Евграфовна, ездила из Петербурга каждый год; страдая редким легочным заболеванием, она проходила регулярное лечение в Швейцарии.

Голубоглазая, жизнерадостная, неугомонного нрава старушка, округлявшая французские звуки «р» на манер оперных певчих, – именно такой Петр помнил свою бабушку Анастасию Евграфовну. От слова «ривьерра» – так по старинке она называла район прибрежной Франции, в котором безвыездно провела большую часть жизни, – вибрировал воздух, и что-то мягко перекачивалось в груди. От бабушки Анастасии исходила прелесть естественного увядания.

Сметая на своем пути преграды и взгребая временное пространство, перепахивая его вдоль и поперек, эпоха, в которой она жила, летела в небыль. По сути – в тартарары. И будто поздняя осень, не успевшая окончательно поступиться своими правами, лишь еще больше очаровывала своей безнадежной отрешенностью от мира реальных вещей, от мира, жаждущего обновления любой ценой...

Александра Вертягина, деда, Петр уже не застал. Дед умер в среднем возрасте от двустороннего плеврита, но всё же успел стать семейной легендой. В звании штабс-капитана он прошел всю Первую мировую войну, до сдачи фронтов немцам. Позднее, присоединившись к Добровольческой армии, прошел и гражданскую войну, эвакуировался из России через Крым, имел два ранения. Судя по фотографиям, это был рослый, темноволосый мужчина, с узкого лица которого не сходило довольно характерное выражение, свойственное в том или ином возрасте всем Вертягиным: смесь задумчивой созерцательности и горделивой иронии, что придавало облику деда нечто преднамеренное, нарочито монументальное.

Овдовевшая Анастасия Евграфовна вышла замуж во второй раз – за состоятельного немецкого дельца по фамилии Крафт, который промышлял винной торговлей между Рейнской областью и Францией. Русского происхождения, Крафт был обязан своей немецкой фамилией германским кровям, в роду давно растворившимся. Крафт, как и бабушка, был вдовцом. От прежнего брака он воспитывал двух дочерей – Эстер и Анну. Анастасия Вертягина, уже немолодая, родила ему третью дочь, Надежду. Остальную часть семьи война раскидала по всем концам Европы.

По поводу происхождения самой фамилии «Крафт» в семье сохранилось несколько различных поверий, одно причудливее другого, уже по той причине, что эта фамилия имела яркие аналоги. Например, встречалась у Достоевского в «Подростке», где описывалась история немецкого студента, жившего в России, который вдруг открыл для себя, что Россия – второстепенная держава, не имеющая никакой особой миссии, а тем более мирового призвания, как многим грезилось. На этой почве студент Крафт пустил себе пулю в лоб.

Крафт-виноторговец закончил свои дни самым что ни на есть естественным образом – благообразно угас от старости в Ля-Гард-Френэ, одном из своих поместий. Но по рассказам, именно такие взгляды в отношении своей исторической родины он исповедовал на протяжении всей жизни. Ни в «миссию» России, ни в то, что она несет на себе великомученический венец, Крафт не верил и не любил разговоры на эту тему...

Крафта Петр почти не помнил. Но образ бабушки с годами нисколько не потускнел. Особо памятными для него оставались почему-то ее уроки рисования, которые бабушка давала ему в Биаррице и в Альпах, куда они ездили с отцом навещать ее. В санатории для туберкулезных больных она проводила немало времени и продолжала там лепить своих «зверушек», к этому времени уже успев обрести известность в определенных кругах – правда, недооцененную в ее собственной семье, как это часто бывает с художниками.

«Ты не мяч должен рисовать, а дырку в пространстве, похожую на твой мяч, – объясняла Анастасия Евграфовна. – Помни, вовсе не обязательно, чтобы дырка была круглая. Понял?»

«Понял...» – бубнил он, но так и не мог увязать в мыслях, как это мяч может не быть круглым. Он не понимал, как такой мяч может катиться по земле?

Анастасия Евграфовна закончила свои дни в Центральном массиве, в поместье, когда-то приобретенном Крафтом, которое долгое время сдавалось в аренду, но содержалось плохо и оказалось запущенным. Приведя имение в порядок, Анастасия Евграфовна жила последние годы одна, наотрез отказываясь куда-либо переезжать, как ни старался сын выволить ее из глуши, предлагая ей жить вместе. В эти годы в ней появилась набожность, зачатки которой давали о себе знать и раньше. Неподалеку от села, в котором она жила, находился небольшой русский приход. Позднее отец уверял Петра, что это и явилось главной причиной переселения бабушки в те края. Прислуги бабушка не держала. Всю необходимую помощь по дому и по хозяйству ей оказывали соседи-французы, простая деревенская семья. И вот незадолго до кончины Анастасия Евграфовна обратилась к сыну и к дочерям с просьбой дать согласие на то, чтобы поместье перешло после ее смерти соседям – так она хотела отблагодарить этих людей за их многолетнюю помощь. Воля Анастасии Евграфовны была исполнена. А впослед-

ствии всем стало известно, что семья французских крестьян была настолько потрясена жестом русской старухи, что вскоре приняла православие – всем домом.

С фамилией Роуз, которая досталась матери Петра от первого брака, была связана уже другая эпоха его жизни. Семья и предки матери – тоже русского происхождения и тоже очень смешанного, но аристократического, с примесью финских и шведских кровей – давно осели в Англии и давно утратили всё русское. В годы войны отец Петра находился в Англии, служил в Красном Кресте. Оттуда, из Бирмингема, он и вывез во Францию свою будущую жену, в то время подданную Великобритании.

Петру с малых лет было известно, что мать – женщина особой породы. Наделенная сильным, не женским характером, она жила по своим собственным законам: домашняя жизнь ее тяготила, а интереса к воспитанию сына она и вовсе не проявляла. Эту простую истину Петр уяснил себе с ранних лет и уже тогда пришел к выводу, что мать недолюбливает малышей – за их дитячью бестолковость.

Ему было пять лет, когда у родителей возникли подозрения по поводу его отставания в развитии. Он отказывался говорить. Недуг развивался на фоне явных неладов с голосовыми связками. Голос срывался, и снадобья от горла, которыми его пичкали с утра до вечера, не помогали. Объездив местных врачей, но ничего так и не добившись, мать повезла его к знаменитому логопеду, жившему в Лионе. Логопеду не потребовалось и пяти минут, чтобы выявить причину аномалии: отклонение развивается на почве нервного стресса. Лионский логопед принялся лечить недуг сеансами пения: заставлял наизусть разучивать басни Лафонтена и петь их под произвольные, на ходу сочиняемые мелодии. Вертягин-старший считал, что никакого отклонения у сына нет. Отказ ребенка говорить был, по его твердому убеждению, следствием беспрестанной смены языковой среды, поскольку в жизни мальчика постоянно смешивались три языка – русский, французский и английский...

И чем выше в гору шла карьера Вертягина-старшего, тем всё более кочевой образ жизни приходилось вести семейству. Занимая различные посты в префектурах и супрефектурах, Вертягин-старший был вынужден переезжать по службе с места на место. Петру исполнилось шесть лет, когда отца из Нанта направили в Сен-Лоран-дю-Марони, по другую сторону океана. Ехать в Гвиану, хотя и французскую, мать наотрез отказывалась. По крайней мере, предпочитала не спешить с переселением. Отклонить назначение Вертягин-старший тоже не захотел, и ему пришлось уехать в Гвиану без семьи. Он наивно полагал, что жена с сыном не выдержат долгой разлуки.

Жизнь Петра теперь проходила в разъездах между югом Франции и Англией. Мать возила его к тетке и к своим родителям. В это же время в отношениях между родителями наметился первый серьезный разлад, и это не могло не сказаться на воспитании малолетнего отпрыска. Петр оказался предоставленным самому себе, улице и на глазах обрастал всеми законными атрибутами тротуара: научился плевать, как портовый рабочий, мог содрать шкуру с кота, участвовал в заговорах против местного кюре, употреблял выражения, от которых мать и веллингтонская тетка, родная сестра матери, дружно закашливались за столом, поперхнувшись от ритуального за ужином супа-пюре, а однажды он даже чуть не утонул в местной речушке...

Веллингтонская тетка взяла на себя хлопоты по определению отпрыска в приличную школу-интернат, где-нибудь неподалеку от Бристоля. Ради упрощения – чтобы племянник не выглядел белой вороной, или из-за оплошности, допущенной теткой при оформлении бумаг, которую задним числом невозможно было поправить, Петр был зачислен в интернат как Питер Роуз.

В один прекрасный день он был доставлен в незнакомую ему городскую чайную. Тщательно накормленный тортом с сиропом, от услады пьяный, он был усажен в пухлый таксомо-

тор, который отливал темным лаком, как когда-то отливал гроб бабушки, и через полчаса такси доставило их с матерью к воротам его будущего заточения.

Одет он был с иголки. Впервые в жизни на нем был галстук. Новая темно-синяя пара была отутюжена теткой до такой степени, что он боялся делать широкие шаги. Сжимая в правом кулаке ручку нового кожаного чемоданчика, от которого исходил запах чужого города и новой жизни, запах чего-то невыразимо горького и неотвратимого, он казался сам себе новым с ног до головы и каким-то ненастоящим. Но главные трудности ждали впереди: ему надлежало привыкать к новому имени.

Отныне он был не Петей, не Пьером и даже не Вертягиным, а Питером Роузом... Ласково заглядывая ему в глаза, мать повторила это новое имя и фамилию несколько раз подряд, пытаясь убедить его в том, что в них нет ничего неблагозвучного. Такси еще не отъехало, мать еще не успела закончить свои напутствия, а он уже понимал, что значит быть сиротой. Окаменев от страха, в этот миг Петр думал об одном: как бы по его лицу не покатались слезы, как бы опять не показаться матери «бестолковым».

В закрытой школе Петр провел не год, как обещали родители, а два года. Когда его, наконец, востребовали назад во Францию и окружающие вновь стали обращаться к нему как к Пьеру Вертягину, он озирался по сторонам, спрашивая себя, не спутали ли его с кем-то другим...

Петр считал отца человеком покладистым, легконравным, но не по натуре, а как бы по необходимости, как бывает иногда с людьми, которых изводит их же собственный характер и не поддающаяся обузданию сила воли. Легконравие, а иногда и просто добродушие, объяснялись в нем отсутствием выбора. Отец чувствовал себя вынужденным делиться с близкими тем, что он сам был бы не прочь получать от окружающих, но в то же время не мог на это рассчитывать, какие бы ни прилагал для этого усилия. Это оказывалось невозможным в силу его превосходства над окружающими, его болезненной неспособности довольствоваться добрыми чувствами к себе людей неравных...

Некоторые тонкости душевного склада отца поражали Петра с раннего детства. Сам Вертягин-старший утонченными сторонами своей натуры тяготился, понимая, что благодаря этим качествам он и располагает к себе людей, но тем самым делает их от себя зависимыми. В этом крылась одна из причин, заставлявшая его всегда и во всех случаях жизни стараться выглядеть проще, чем он был в действительности. К старости ему удалось довести в себе этот стиль поведения до такого совершенства, что на пороге собственного дома его легко могли принять за слесаря из аварийной службы.

Отец Петра прожил жизнь, ни разу по-настоящему не поступившись своими принципами. Сложный настой его убеждений был замешен не столько на протестантском воспитании, полученном от родителей, сколько на доморощенной философии, которая представляла собой некий отцеженный концентрат всевозможных идей «воздержания» и «умеренности», начиная с протестантских (хотя протестанты и не считали предосудительным, пока суд да дело, устривать свою брентную жизнь с наименьшими тяготами) и заканчивая «антропологическими» теориями послевоенного времени, с упором на предрасположенность рода людского к бойням и разрушениям. Стоило добавить в эту смесь щепотку сентиментальности, ароматно наперчить ее любовью к ближнему, и получалось нечто такое, что могло бы сойти за внутреннее благородство, в какой-то редкой необычной форме, если бы всё это можно было ежедневно использовать или хотя бы просто по-человечески терпеть.

Петр был еще подростком, но инстинктивно уже понимал, что мать его создана для другой жизни и что здесь вся суть разногласий между родителями. Оба они требовали друг от друга невозможного. Отношения между матерью и отцом были страстными, как между молодоженами. У Петра доли сомнений не было в том, что мать питает к отцу глубокое, полное самоотречения чувство, с безнадежностью и внутренней преданностью пронеся его как жертву

через всю жизнь, и что она оставалась преданной ему даже после того, как они разошлись и жили врозь, вплоть до его кончины. Но в ее любви недоставало женской кротости. Так же как в любви отца недоставало обыкновенного мужского великодушия.

Родители развелись, когда Петру было шестнадцать лет – отец служил в это время в посольстве в Брюсселе. Не прошло и года, как мать вновь вышла замуж – за сына известного в сороковых годах писателя. Новый муж был ее моложе на десять лет. Мать поселилась с ним в Бургундии, начала и сама писать прозаические опусы – не иначе как под влиянием родовых традиций нового мужа. Позднее они переселились на Джерси, жили на острове большую часть года, и в это время мать издала свой первый «розовый» роман. Как только он появился в свет, она разослала экземпляры родственникам и этим поступком не одному из них подкосила здоровье: родственники восприняли выход опуса как личное оскорбление, тем более что в качестве «материала» мать использовала всем известные семейные эпизоды, значительно их подсолвив. И если бы она не воспользовалась псевдонимом – под этим покляпом на свое прошлое мать поставила подпись «Гертруда Шейн», – родственники добились бы через суды ее сожжения на костре.

Единственным из всех, кто отреагировал на событие целомудренно, был отец Петра. Перелистывая книгу, он хохотал и даже находил ее «занятой». Роман был написан по-английски и вышел во Франции мизерным тиражом. Аналогичная участь ожидала все книги матери, вышедшие из-под ее пера и позднее.

Просматривая первую книгу матери, красиво изданный миниатюрный томик в двести страниц, Петр больше всего поражался следующему сопоставлению: коль скоро мать разбиралась в «вечном» вопросе с таким гурманством, получалось, что и сам он был обязан своим появлением на свет изощренному излиянию чувств между людьми, «любившими друг друга для того, чтобы мучить или не измучиться вконец друг без друга...» – такими откровениями мать озадачивала с первой же страницы. Петр не мог в это поверить. Родители были для него такими же нормальными людьми, как и большинство окружающих, и в своем отношении к «вечному» вопросу производили впечатление людей скорее чопорных, чем раскрепощенных, эмансипированных...

Долго не протянул в холостяках и Вертягин-старший. Но в отношениях со слабым полом ему не везло всю его жизнь. Вертягин-старший женился в общей сложности трижды. Эта сторона жизни отца стала Петру по-настоящему понятной лишь с годами. Отец был влюбчив, как герои старинных светских романов. Платоническое брало над ним верх вопреки его воле, являясь следствием чрезмерной совестливости. Слабый пол покорял его прежде всего своими «слабыми» сторонами, нуждой в защите. И он каждый божий раз попадал в эту ловушку, несмотря на то, что в душе испытывал более здоровые, более реалистичные потребности, чем те, которые считал для себя обязательными...

Во второй раз отец оказался пленен пятидесятилетней голубоглазой блондинкой. Дама его сердца в молодости была фотомodelью, затем лишилась одной груди в результате маммотомии, но от онкологической болезни смогла оправиться и теперь жила на скромную ренту. Звали ее Элизабет. Отцу это имя не нравилось. Отличаясь тяжеловатым чувством юмора, он стал называть ее в шутку Мишель – из-за ее сходства с Мишель Морган, знаменитой в те годы актрисой. Но сходство действительно многих поражало. К этому времени отец совершенно облысел, давно был не молод, и Петру казалось непонятным, чем он мог снискать к себе расположение такой женщины.

– Видишь ли, Пьер, у нас с твоим папой не то что нетипичные отношения, а как бы тебе сказать... не то чтобы очень обыкновенные... – такими сложноподчиненными предложениями отвечала Мишель, она же Элизабет, на его расспросы. – Но ты поймешь когда-нибудь. В двух словах всего не объяснишь.

Из сказанного Петр делал вывод, что оба продолжали жить по-старому, оставаясь свободными друг от друга и сойдясь в пару немного как друзья по несчастью. Для Петра давно перестало быть тайной, что отец не выносил жизненных перемен, устал от них. В это время в нем уже давала о себе знать родовая склонность к уединению. Петр как будто бы понимал, что как раз такого рода отношения с женщиной, отличающиеся умеренностью, лучше всего подходили темпераменту отца, позволяли ему сохранить в себе внутреннее равновесие, чем он так дорожил. Но ему трудно было представить себя на месте отца. Ни в какие ворота не лезло, например, то, что отец и «Мишель» продолжали обращаться друг к другу на «вы» даже в домашней обстановке и переходили на «ты» при посторонних, – они делали это для отвода глаз, чтобы не шокировать своими манерами и привычками.

Жизнь отца опять окутал туман. Но Петр уже не удивлялся тому, при каких обстоятельствах этот брак распался.

Вертягин-старший, а точнее, дипломат Крафт получил новое назначение, несколько понижавшее его в должности: его послали в Россию, в Ленинград, на пост генерального консула. И вот по приезде на место вскоре обнаружилось, что его половина, отправившаяся в Советский Союз вместе с ним, оказалась не совсем той, за кого ее все принимали. Неприятности начались со странных смешков и, собственно говоря, с безобидного запоя. Ничего подобного раньше Мишель себе не позволяла. Запой повторился вновь. Всё это ставило консула Крафта в неприглядное положение: такого рода эксцессы не вязались с его рангом и статусом.

И вот перед поступлением в университет Петр решил навестить отца в Ленинграде. Поездка выпадала на рождественские праздники. Отец был в прежнем расположении духа. На стол по вечерам подавали манную кашу. Консул Крафт считал непристойным щеголять французской гастрономией в стране, в которой людей отучили отличать говядину от свинины. После Рождества Петр продал консульскому повару свою машину, «ауди», на которой приехал в Ленинград через Финляндию, он собирался возвращаться назад поездом через Москву и заказал билет на второе января. А в самый канун новогодних праздников Мишель устроила в консульстве сцену: полуодетая, с вывалившейся из комбинации единственной грудью, она носилась среди бела дня по служебным помещениям, скандалила, обвиняла сотрудников в том, что они что-то от нее прячут, а ночью, когда кризис вроде бы миновал, незаметно встала, бродила по залам резиденции, выходила раздетая на балкон, в морозную русскую ночь, и в буквальном смысле слова куковала...

Только позднее, уже в Париже, стало известно, что Мишель была настоящей клинической больной с многолетним стажем. Отец, как выяснилось, даже не догадывался о том, что его ненаглядная неоднократно проходила лечение в лечебницах и, помимо всяческих банальных отклонений, страдала тяжелой формой лунатизма или чем-то в этом роде. По мнению психотерапевтов, под наблюдением которых она находилась, течение ее болезни не позволяло строить особенно оптимистических прогнозов...

Три года, проведенные в Советском Союзе, наложили на Вертягина-старшего неизгладимый отпечаток. Это замечали все. Во Францию он вернулся надломленным, сентиментальным, не то просто безвременно состарившимся человеком. Первое время он продолжал ходить на работу в министерство в Париже. Затем получил новый пост – в Нантское отделение, где занимался курдским вопросом, и с этого дня «гуманитарная» деятельность стала его основным занятием. В этот же период в прошлое канули все его нестигаемые принципы. Сам он оставался им верен, но перестал навязывать их другим. Само по себе это было уже большим прогрессом. В это же время было принято решение о продаже фамильного дома в Ля-Гард-Френэ и большей части прилегавшего к дому участка – той половины парка, на которой находился бассейн. Отец намеревался оставить себе лишь клочок земли с ельником, на котором ютилась старая хибарка, рассчитывая ее перестроить и приспособить для жилья...

С тех пор как Петр жил самостоятельной жизнью, отец впервые оказывал ему настоящую материальную поддержку. В этот период и произошло их последнее сближение. Отец больше не осуждал его за беспутную жизнь и перестал обзывать «вечным студентом». Но если разобраться, то в общем-то и не имел больше причин снимать с Петра стружку. Два года литературной учебы Петру опостытели, он поступил на юридический факультет, в Нанте же, и уже успел перевестись в Париж, изучал право. Он повернул именно на ту стезю, которую Вертягин-старший прочил ему с самого начала. Единственное, что вызывало в отце прежнее неприятие, – это бесцельная, как он считал, езда сына в Москву. Вертягин-старший воспринимал «тягу» сына к своей исторической родине как личное фиаско и предрекал Петру серьезные неприятности...

Симбиоз в отношениях продержался аж до выхода отца на пенсию и до очередной амурной эпопеи, которая произошла с отцом уже после переезда на юг. На этот раз Вертягин-старший не устоял перед ослепительными чарами красавицы-креолки моложе его лет на двадцать. Новая избранница отца годы назад была «подругой семьи». По слухам, она работала учительницей в лицее под Каннами. Вернувшись в Ля-Гард-Френэ, отец перестроил свой домик, продал трехкомнатную квартиру у Люксембургского сада, чтобы помочь Петру окончательно определиться с жильем, и жил всё скромнее. До Петра доходило, что отец стал жертвой настоящей страсти, которую скрывал ото всех. О родственниках и знакомых и говорить не приходилось. Уж он-то понимал, как родня отнесется к тому, что он живет с молодой креолкой. И всё это длилось уже до конца...

По возвращении с похорон в Гарн Петр провел несколько дней дома безвыездно. Фон Ломов обещал заехать в Гарн среди недели, чтобы всерьез обсудить очередные новшества, назревавшие в кабинете, которые ни у кого в конторе больше не пробуждали ни малейшего энтузиазма, поэтому ему и требовался союзник. Однако визит свой Фон Ломов переносил со дня на день, до выходных увидеться так и не удалось...

Воскресное утро Петр провел в розарии, решив удвоить настил сена под кустами. Закончив с розами, он взялся за ограду. Рулон непрозрачной зеленой сетки был куплен месяц назад, но руки до нее всё не доходили. С первым снегом, выпавшим впервые за несколько лет, участок поредел. Розы даже сбросили листву, и чтобы они не обмерзли, пришлось прикрыть их с наветренной стороны полиэтиленовыми мешками для мусора, из-за чего ограда стала прозрачной, особенно по правому периметру, где участок распахивался на голые газоны соседей. Сад выглядел голым, неухоженным.

Петр выволок из подвала рулон, перетащил его на газон, раскатал, отмерил нужные десять с половиной метров и, как следует повозившись, чтобы протащить сетку между кустами, не обломав ветки, стал укреплять ее проволокой поверх старой металлической сетки с крупной ячейкой. От неудобной позы уже через десять минут трудно было разогнуть спину, ныло в пояснице. То плоскогубцы, то моток проволоки выпадали из рук. Сетка то и дело заваливалась набок, будто лишившаяся чувств живая туша. Уже дважды пришлось начинать всё сначала. Он хотел обойтись без чужой помощи, но уже понимал, что вряд ли справится сам.

Утро вновь выдалось пасмурное. Сад скисал от переизбытка влаги. Беспросветный сероватый вид нет-нет да брезжил сквозь туман над лугами, но лишь на несколько минут и не дальше чем на пару сотен метров. Затем всё опять обрывалось в непроглядную зыбь, и взгляд упирался в молочное месиво.

Во всём поселке стояла мертвая тишина. Жители то ли еще спали, то ли все поразъехались. Унылый вид расквашенной нивы за нижней оградой и поутру растрепанного, съжившегося от сырости леса, который сверху, будто лапой, накрывала тяжелая хлябь, гробовая тишина вокруг, нарушаемая пугливым птичьим посвистыванием, ни тепло, ни холод, но что-то среднее... – уже по одним этим признакам было очевидно, что непогода гарантирована на весь день.

Петр вдруг засомневался в необходимости затеянных благоустройств. Нужно ли было браться за всё это в одиночку, в отсутствие Марты? Он засомневался вдруг во всём на свете.

Вот уже неделю, едва он вернулся домой с юга, он не переставал ловить себя на мучительном и неотступно преследующем его ощущении, которое врывалось в него неожиданно, но вновь и вновь возвращалось, что всё вокруг, весь окружающий мир стал каким-то иным – более серым, каким-то более рыхлым, непредсказуемым. Даже он сам, вся его жизнь, та немалая ее часть, которую он отдавал конторе, и львиная ее половина, как ему казалась, проходившая дома, – во всём появилась какая-то новая неопределенность, забытая, но узнаваемая, распознаваемая почти физически, которой он не испытывал уже несколько лет. Он это подмечал даже в лицах окружающих. Преследовавшее его чувство было реальным, физическим, но при этом настолько неуловимым, что его невозможно было выразить словами. Это был какой-то внутренний запах...

Земля уплывала из-под ног. Прочной почвы под ногами не стало. Вместо этого – зыбкая уверенность, бравшаяся тоже неведомо откуда, что хвататься за мнимое равновесие бессмысленно. В конце концов, упасть, провалиться – просто некуда. Да и не дадут.

Всё опять казалось временным. В мире вновь не хватало какой-то ноты, которую он всегда и с ходу улавливал каким-то внутренним слухом, но как-то не очень обращал на нее внимание. Однако как только эта нота затихала, наступала не тишина, как ни странно, а наоборот – в жизнь сразу врывалась какая-то новая какофония, и появлялось чувство, что нужно всё начинать сначала...

В Версале он не появлялся по два-три дня подряд. К обычной работе душа не лежала. Приходилось себя пересиливать. Но сколько это может продолжаться? Однообразие привычных жестов, действий, поступков, решений... – всё это приносило определенное равновесие, но на очень короткое время. Внутренняя легкость и ясность, хотя она и граничила с каким-то внутренним отступничеством от мира обычных вещей, от мира окружающего, появлялась в нем только после нескольких часов утомительной физической работы, когда он занимался в саду розами или посвящал себя хозяйству, очередному ремонту, а этого в доме было хоть отбавляй. На это и уходило всё его свободное время...

После того как треть сетки удалось укрепить и вся конструкция худо-бедно держалась сама, Петр сделал перекур. Чтобы размять одеревеневшие ноги, он выкатил из сарая тачку, загрузил ее листвой, с утра собранную из-под кустов, и когда он покатыл ее вниз, чтобы вывалить под елью, где устроил компостную яму, от ворот послышался шум подъехавшей машины.

На левой аллее вскоре показался знакомый силуэт. Полураздетый, в одном пиджаке, Фон Ломов на ходу размахивал руками:

– Петр, мерзавец! Куда пропал? Почему телефон не отвечает? Я обзвонился с утра...

Петр вытер руки о вельветовые штаны и зашагал навстречу.

– А здесь не слышно, – сказал он, почему-то показав рукавом туда, где оставил воткнутыми в землю вилы, металлический штырь и лопату. – Уже двенадцать, что ли?

– Нет, так дело не пойдет... Да ты, по-моему, просто распустился... Распустился, голубчик, вот мое мнение.

Они стали не спеша спускаться вниз по газону. Фон Ломов надел перчатки и сделал ими оглушительный хлопок.

– Народ спит здесь до обеда?.. А Марта где? Она-то куда смотрит?

– Уехала. До вечера... – На лице Вертягина выступила умоляющая ухмылка.

– Хорошая тележка. У Леопольда... у дяди... точно такая же. – Фон Ломов подступил к тачке с мусором, оставленной посреди газона, и пнул ногой по резиновому колесу. – И смазывать не надо. Только неустойчивая, если загрузить, падает.

– Ну что вы там надумали? – спросил Петр. – Едете вы или нет?

– В Бретань?

– В Найроби.

– И в Найроби, и в Бретань... Я бы сразу уехал. Но у него дела. У Леопольда... Что-то Брэйзиер тебя вчера искал. Звонил, спрашивал, почему не может домой тебе дозвониться. Какой-то он... – Фон Ломов изобразил перчаткой что-то извилистое.

– Что он хотел?

– Что-то насчет дочери... У него дочь в Париже живет?

– Да, Луиза.

– Вот-вот... Красивое имя, – одобрил Фон Ломов. – Он просил, чтобы ты позвонил в конце недели. С понедельника его в Тулоне не будет. Послушай-ка... – Фон Ломов опять издал перчатками хлопок. – А почему тебе не поехать с нами? На недельку? Морской воздух, рыбалка, яхта... Какая ни есть, но всё-таки. – Фон Ломов имел в виду парусник-корыто, за бесценку приобретенный его дядей, который им на пару удалось переоборудовать в яхту, ставшую достопримечательностью всей округи. – По вечерам будем сидеть у камина. Дядька вином запасся. Что ты молчишь?

Вертягин вытер рукавом щетину на лице и отрицательно покачал головой:

– Нет.

– Что нет?

– Не сейчас. Тут возни на месяцы. – Он показал на кусты.

– Ну а хочешь, в Кению поедем вместе?

– Знаешь что... Если хочешь мне удружить чем-нибудь, кончай бить в ладоши и поехали обедать.

– Что тебя держит? – настаивал Фон Ломов. – Ты уже был когда-нибудь в Африке?.. То-то и оно. Поговори с Мартой. Ну в самом деле? А это всё может подождать... – И он опять пнул ногой тачку. – Найми кого-нибудь. Или денег жалко?

Переубеждать друг друга было бесполезно.

– Сетка отвалилась?

– Да... То есть нет... Новую решил натянуть. Слишком морозит в ветреную погоду. Так хоть немного защитит кусты, – проговорил Вертягин. – Розы... они чахнут от холода.

Фон Ломов с досадой замотал головой, но промолчал. Сняв пиджак, он бросил его на садовый стул и, оставшись в одном свитере, подошел к изгороди, схватил с земли свисающий край сетки, подтянул его вверх, на уровень лица, и крикнул:

– Ну что ты встал как пень? Помоги же!

Схватив с травы плоскогубцы и проволоку, Вертягин кинулся к изгороди, и они принялись ловко пропускать проволоку сквозь сетку, сразу закрепляя ее в нужном положении. От слаженных энергичных действия оба вскоре вспотели. Но в лицах появился некоторый азарт.

Когда через полчаса они поднялись в дом, Петр предложил поехать обедать в местный ресторан. Километра четыре езды. Меню не ахти, кухня итальянская. Но хозяин для своих, мол, старается.

Фон Ломов, не слыша его, с ходу стал углубляться в свою тему. Прием в состав кабинета нового компаньона, немца, должен был привести к переменам, к появлению новой и состоятельной немецкой клиентуры. Соответствующим образом Фон Ломов и обрабатывал компаньонов уже второй месяц. Разговорам о расширении деятельности не было конца. Однако прийти к единому мнению не удавалось, и Фон Ломов продолжал ратовать за перемены один. Все остальные считали, что спешка в решении вопроса лишь навредит делу, ведь речь шла, по сути, о новом направлении во всей деятельности кабинета. Бизнес, финансы, международное коммерческое право, более тесные связи с Германией, с Бенилюксом, и всё это в ущерб обычной, хорошо всем знакомой работе, которая на сегодня худо-бедно всех устраивала, – такая «специализация» казалась неизбежной. Но пока никто не был готов к переменам. Реше-

ние требовалось более комплексное. И все лишь разводили руками, отделялись обещаниями подумать еще. Фон Ломов тем временем оказывался в затруднительном положении перед немцем-кандидатом – тот не мог дожидаться решения месяцами. И едва обсуждения возобновлялись, как Фон Ломов выходил из себя, начинал в открытую поносить кабинетную братию за инертность, упрекал всех в отсутствии амбиций и даже в безразличии к общим интересам. Был ли Вертягин менее равнодушен к теме, чем остальные?..

Вот и сейчас он опять молча расхаживал между гостиной и кухней, накрывая на стол. Почему не перекусить до ресторана? Обед мог получиться поздним.

Петр принес деревянную доску с сырами, паштет, холодный ростбиф, вареные яйца, бутылку «Сент-Эмильона» и два бокала. Гость помогал откупоривать вино, резал хлеб, но продолжал рассуждать о своем.

Холодная еда оказалась настолько аппетитной, что ехать куда-то обедать было уже бессмысленно.

Отлынивание от работы и черное уныние, написанное у Вертягина на лбу, было вызвано, как Фон Ломов уверял его, не столько его «утратой», сколько каким-то более общим, хроническим «авитаминозом». Запущенный недуг сегодня впору было лечить встрясками и «острыми ощущениями»...

Петр отмахивался. Но продолжал в том же духе. И тем лишь усугублял обиды в свой адрес. С тех пор как он жил с Мартой Грюн, его больше не тянуло на совместные развлечения, как это случалось прежде – например, вместе поехать на море или, наконец, просто пропустить за компанию по стакану виски в соседнем баре.

Самодостаточность – худший стимул для отношений. И отношения переродились на глазах, казались лишенными внутреннего импульса, необходимости. Досаду вызывало, разумеется, и аморфное отношение Вертягина к кабинетным планам. Я, мол, на всё согласен, делайте что хотите. Согласен – да не со всем. Когда недавно к нему обратились с просьбой взять на себя часть текущих дел, которые кто-то должен был вести во время запланированного отъезда, Петр попросту отказался, удивив всех своей безапелляционностью.

Нерадивость, с которой Вертягин отнесся к банальной просьбе, вызвала тем большее непонимание, что речь шла об участии в двух рядовых слушаниях, особых потуг от него не требовавших. Практически с августа Фон Ломов не взял ни одного отгула и сегодня считал себя вправе на короткий отпуск, хотя бы недельный, перед отъездом в Кению, который был намечен на период послерожественского затишья. Из-за Петра и разногласий, которые опять сотрясали жизнь конторы, отпуск оказывался подпорченным...

Упреки в адрес Вертягина были справедливыми, как всегда, лишь наполовину. В понедельник Петр приехал в Версаль раньше всех и тут же взялся за дела, проследить за которыми просил Фон Ломов. Кроме того, он взвалил на себя и все рутинные консультации, перенесенные на понедельник с прошлой пятницы, таким образом избавляя других сотрудников от столь нелюбимой всеми обузы. Стараясь искупить свое недельное отлынивание от работы, Вертягин взвалил на себя гораздо больше работы, чем требовалось, чтобы доказать компаньонам свою преданность общим интересам.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.